

КУРТ ВОННЕГУТ

Книги, изменившие мир. Писатели, объединившие поколения.

КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ КОШКИ

эксклюзивная классика

Колыбель для кошки
Курт Воннегут

Аннотация
Курт Воннегут. Колыбель для кошки
1. День, когда настал конец света
2. Хорошо. Хорошо. Это очень хорошо
3. Глупость
4. Попытка поискать пути
5. Письмо от студента-медика
6. Война жуков
7. Прославленные хониккеры
8. Роман Ньюта и Зинки
9. Вице-президент, заведующий вулканами
10. Тайный агент икс-9
11. Протеин
12. Предел наслаждения
13. Трамплин
14. Когда в автомобилях висели хрустальные вазочки
15. Счастливого рождества!
16. Возвращение в детский сад
17. Девичье бюро
18. Самый ценный товар на свете
19. Конец грязи

20. Лед-девять
21. Морская пехота наступает
22. Молодчик из желтой прессы
23. Последняя порция пончиков
24. Что такое вампитер
25. Самое главное в жизни доктора Хониккера
26. Что есть Бог?
27. Люди с Марса
28. Майонез
29. Ушли, но не забыты
30. Легла ты спать
31. Еще один Брид
32. Динамитные деньги
33. Неблагодарный человек
34. Вин-дит
35. «Уголок любителя»
36. Мяу
37. Наш современник – генерал-майор
38. Акулья столица мира
39. Фата-моргана
40. Обитель надежды и милосердия
41. Карасс на двоих
42. Велосипеды для Афганистана
43. Демонстратор
44. Сочувствующий коммунистам
45. За что ненавидят американцев

46. Как Боконон учит обращаться с Кесарем
47. Динамическое напряжение
48. Совсем как святой Августин
49. Рыбка, выброшенная злым прибоем
50. Славный карлик
51. О'кей, мамуля!
52. Совсем безболезненно
53. Президент «Фабри-Тека»
54. Нацисты, монархисты, парашютисты и дезертиры
55. Не делай указателя к собственной книге
56. Самоокупающееся беличье колесо
57. Скверный сон
58. Особая тирания
59. Пристегните ремни
60. Обездоленный народ
61. Цена капрала
62. Почему Хэзел не испугалась
63. Набожный и вольный
64. Мир и процветание
65. Удачный момент для посещения Сан-Лоренцо
66. Сильнее всего на свете
67. Ку-рю-ка
68. «Сито мусеники»
69. Огромная мозаика
70. Питомец Боконона

71. Имею счастье быть американцем
72. Писсантный Хилтон
73. Черная смерть
74. Колыбель для кошки
75. Передайте привет доктору Альберту Швейцеру
76. Джулиан Касл соглашается с Ньютом, что все на свете – бессмыслица
77. Аспирин и боко-мару
78. В стальном кольце
79. Почему Маккэйб огрубел душой
80. Водопад в решете
81. Белая невеста для сына проводника спальных вагонов
82. За-ма-ки-бо
83. Доктор Шлихтер фон Кенигсвальд приближается к точке равновесия
84. Затемнение
85. Сплошная фома
86. Два маленьких термоса
87. Я – свой в доску
88. Почему Фрэнк не может быть президентом
89. Пуфф…
90. Единственная загвоздка
91. Мона
92. Поэт воспевает свое первое боко-мару

93. Как я чуть не потерял мою Мону
94. Самая высокая гора
95. Я вижу крюк
96. Колокольчик, книга и курица в картоне
97. Вонючий церковник
98. Последнее напутствие
99. «Боса Сосидара Гирину»
100. Фрэнк прячется в каменный мешок
101. Как и мои предшественники, я объявляю Боконона вне закона
102. Враги свободы
103. Врачебное заключение о последствиях забастовки писателей
104. Сульфатиазол
105. Болеутоляющее
106. Что говорят боконисты, кончая жизнь самоубийством
107. Смотрите и радуйтесь!
108. Фрэнк объясняет, что надо делать
109. Фрэнк защищается
110. Четырнадцатый том
111. Тайм-аут
112. Сумочка матери Ньюта
113. История
114. «Когда мне в сердце пуля залетела»
115. Случилось так

116. Великий А-бумм!
117. Убежище
118. Железная дева и каменный мешок
119. Мона благодарит меня
120. Всем, кого это касается
121. Я отвечаю не сразу
122. Семейство швейцарских робинзонов
123. О мышах и людях
124. Муравьиный питомник Фрэнка
125. Тасманийцы
126. Играйте, тихие флейты!
127. Конец

Аннотация

Послушайте – когда-то, две жены тому назад, двести пятьдесят тысяч сигарет тому назад, три тысячи литров спиртного назад… Тогда, когда все были молоды… Послушайте – мир вращался, богатые изнывали от глупости и скуки, бедным оставалось одно – быть СВОБОДНЫМИ и УМНЫМИ. Правда была неправдоподобнее всякого вымысла. Женщины были злы и красивы, а мужчины – несчастны и полны глупых надежд. И крутилась, крутилась жизнь, запутывалась все сильнее – как дикая, странная игра под названием «КОЛЫБЕЛЬ ДЛЯ КОШКИ»…

Курт Воннегут
Колыбель для кошки

Kurt Vonnegut
CATS CRADLE

Публикуется с разрешения Kurt Vonnegut LLC и литературного агентства The Wylie Agency (UK) LTD.

Copyright © 1963, Kurt Vonnegut, Jr. Copyright renewed © 1991 by Kurt Vonnegut, Jr. All rights reserved

Печатается с разрешения издательства Dial Press, an imprint of the Random House Publishing Group, a division of Random House, Inc. и литературного агентства Andrew Nurnberg.

© Kurt Vonnegut, 1963
© Перевод. Р. Райт-Ковалева, наследники, 1992
© Издание на русском языке AST Publishers, 2014

* * *

Кеннету Литтауэру, человеку смелому и благородному
Нет в этой книге правды, но «эта правда – фома, и от нее ты станешь добрым и храбрым, здоровым и счастливым».

«Книги Боконона» 1:5
«Безобидная ложь – фома»

1. День, когда настал конец света

Можете звать меня Ионой. Родители меня так назвали, вернее, чуть не назвали. Они меня назвали Джоном.

Иона-Джон — будь я Сэмом, я все равно был бы Ионой, и не потому, что мне всегда сопутствовало несчастье, а потому, что меня неизменно куда-то заносило — в определенные места, в определенное время, кто или что — не знаю. Возникал повод, предоставлялись средства передвижения — и самые обычные и весьма странные. И точно по плану, именно в назначенную секунду, в назначенном месте появлялся сей Иона.[1]

Послушайте.

Когда я был помоложе — две жены тому назад, 250 тысяч сигарет тому назад, три тысячи литров спиртного тому назад…

Словом, когда я был гораздо моложе, я начал собирать материалы для книги под названием *День, когда настал конец света.*

Книга была задумана документальная.

---

[1] Сноски: 1

О пророке Ионе — см. Книга пророка Ионы, Ветхий Завет. — *Примеч. пер.*

Была она задумана как отчет о том, что делали выдающиеся американцы в тот день, когда сбросили первую атомную бомбу на Хиросиму в Японии.

Эта книга была задумана как книга христианская. Тогда я был христианином.

Теперь я боконист.

Я бы и тогда стал боконистом, если бы кто-нибудь преподал мне кисло-сладкую ложь Боконона. Но о боконизме никто не знал за пределами песчаных берегов и коралловых рифов, окружавших крошечный остров в Карибском море — Республику Сан-Лоренцо.

Мы, боконисты, веруем в то, что человечество разбито на группы, которые выполняют Божью волю, не ведая, что творят. Боконон называет такую группу *карасе* — и в мой личный карасе меня привел мой так называемый *канкан,* — и этим канканом была моя книга, та недописанная книга, которую я хотел назвать *День, когда настал конец света.*

2. Хорошо. Хорошо. Это очень хорошо

«Если вы обнаружите, что ваша жизнь переплелась с жизнью чужого человека, без особых на то причин, — пишет Боконон, — этот человек скорее всего член вашего *карасса».*

И в другом месте, в *Книгах Боконона,* сказано: «Человек создал шахматную доску. Бог создал *карасе».* Этим он хочет сказать, что для карасса не существует ни национальных, ни ведомственных, ни профессиональных, ни семейных, ни классовых преград.

Он лишен определенной формы, как амеба.

Пятьдесят третье калипсо, написанное для нас Бокононом, поется так:

И пьянчужки в парке,
Лорды и кухарки,
Джефферсоновский шофер
И китайский зубодер,
Дети, женщины, мужчины –
Винтики одной машины.
Все живем мы на Земле.

Варимся в одном котле.
Хорошо, хорошо,
Это очень хорошо.[2]

[2] Сноски: 2
Переводы «калипсо» здесь и далее — М. Ковалевой.

3. Глупость

Боконон нигде не предостерегает вас против людей, пытающихся обнаружить границы своего карасса и разгадать промысел Божий. Боконон просто указывает, что такие поиски довести до конца невозможно.

В автобиографической части *Книг Боконона* он приводит притчу о глупости всякой попытки что-то открыть, что-то понять:

«Когда-то в Ньюпорте, Род-Айленд, я знал одну даму епископального вероисповедания, которая попросила меня спроектировать и построить конуру для ее датского дога. Дама считала, что прекрасно понимает и Бога, и пути Господни. Она никак не могла понять, почему люди с недоумением смотрят в прошлое и в будущее.

И однако, когда я показал ей чертеж конуры, которую я собирался построить, она мне сказала:

— Извините, я в чертежах не разбираюсь.

— Отдайте мужу или духовнику, пусть передадут Богу, — сказал я, — и если Бог найдет свободную минутку, я не сомневаюсь — он вам так растолкует мой проект конуры, что даже вы

поймете.

Она меня выгнала. Но я ее никогда не забуду. Она верила, что Бог гораздо больше любит владельцев яхт, чем владельцев простых моторок. Она видеть не могла червяков. Как увидит червяка, так и завизжит.

Она была глупа, и я глупец, и всякий, кто думает, что ему понятны дела рук Господних, тоже глуп». (Так пишет Боконон.)

4. Попытка поискать пути

Как бы то ни было, я собираюсь рассказать в этой книге как можно больше о членах моего *карасса* и попутно выяснить по непреложным данным, что мы все, скопом, натворили.

Я вовсе не собираюсь сделать из этой книги трактат в защиту боконизма. Однако я, как бокопист, хотел бы сделать одно предупреждение. Первая фраза в *Книгах Бокопона* читается так:

«Все истины, которые я хочу вам изложить, — бесстыдная ложь».

Я же, как бокопист, предупреждаю:

Тот, кто не поймет, как можно основать полезную религию на лжи, не поймет и эту книжку.

Быть по сему.

А теперь — о моем *карассе.*

В него, конечно, входят трое детей доктора Феликса Хониккера, одного из так называемых «отцов» атомной бомбы. Сам доктор Хониккер, безусловно, был членом моего *карасса,* хотя он умер, прежде чем мои *синуусики,* то есть вьюнки моей жизни, переплелись с жизнями его детей.

Первый из его наследников, кого коснулись усики моих *синуусиков,* был Ньютон Хониккер, младший из двух сыновей. Я узнал из бюллетеня моей корпорации «Дельта-эпсилон», что Ньютон Хониккер, сын лауреата Нобелевской премии физика Феликса Хониккера, был принят кандидатом в члены моей корпорации при университете Корнелл.

И я написал Ньюту следующее письмо:

«Дорогой мистер Хониккер. (Может быть, следует написать: «Дорогой собрат Хониккер»?)

Я, член корпорации Корнелла «Дельта-эпсилон», сейчас зарабатываю на жизнь литературным трудом. В данное время собираю материал для книги о первой атомной бомбе. В книге я коснусь только событий, имевших место 6 августа 1945 года, то есть в тот день, когда была сброшена бомба на Хиросиму.

Так как всеми признано, что ваш покойный отец — один из создателей атомной бомбы, я был бы очень благодарен за любые сообщения о том, как прошел в доме вашего отца день, когда была сброшена бомба.

К сожалению, должен сознаться, что знаю о вашем прославленном семействе куда меньше, чем следовало бы, так что мне неизвестно, есть

ли у вас братья и сестры. Но если они у вас есть, мне очень хотелось бы получить их адреса, чтобы и к ним обратиться с той же просьбой.

Я понимаю, что вы были совсем маленьким, когда сбросили бомбу, но тем лучше. В своей книге я хочу подчеркнуть главным образом не техническую сторону вопроса, а отношение людей к этому событию, так что воспоминания «младенца», если разрешите так вас назвать, органически войдут в книгу.

О стиле и форме не беспокойтесь. Предоставьте это мне. Дайте мне просто голый скелет ваших воспоминаний.

Разумеется, перед публикацией я вам пришлю окончательный вариант на утверждение.

С братским приветом…»

5. Письмо от студента-медика

Вот что ответил Ньют:

«Простите, что так долго не отвечал. Вы как будто задумали очень интересную книгу. Но я был так мал, когда сбросили бомбу, что вряд ли смогу вам помочь. Вам надо обратиться к моим брату и сестре — они много старше меня. Мою сестру зовут миссис Гаррисон С.ККоннерс, 4918 Норт Меридиен-стрит, Индианаполис, штат Индиана. Сейчас это и мой домашний адрес. Думаю, что она охотно вам поможет. Никто не знает, где мой брат Фрэнк. Он исчез сразу после похорон отца два года назад, и с тех пор о нем ничего не известно. Возможно, что его и нет в живых.

Мне было всего шесть лет, когда сбросили атомную бомбу на Хиросиму, так что я вспоминаю этот день главным образом по рассказам других.

Помню, как я играл на ковре в гостиной, около кабинета отца. На нем были пижама и купальный халат. Он курил сигару. Он крутил в руках веревочку. В тот день отец не пошел в лабораторию и просидел дома в пижаме до вечера. Он оставался дома когда хотел.

Как вам, вероятно, известно, отец всю свою жизнь проработал в научно-исследовательской лаборатории Всеобщей сталелитейной компании в Илиуме. Когда был выдвинут Манхэттенский проект, проект атомной бомбы, отец отказался уехать из Илиума. Он заявил, что вообще не станет работать над этим, если ему не разрешат работать там, где он хочет. Почти всегда он работал дома. Единственное место, кроме Илиума, куда он любил уезжать, была наша дача на мысе Код. Там, на мысе Код, он и умер. Умер он в сочельник. Но вам, наверно, и это известно.

Во всяком случае, в тот день, когда сбросили бомбу, я играл на ковре около отцовского кабинета. Сестра Анджела рассказывает, что я часами играл с заводными грузовичками, приговаривая: «Бип-бип-тррр-трррр…» Наверно, я и в тот день, когда сбросили бомбу, гудел: «Тррр», а отец сидел у себя в кабинете и играл с веревочкой.

Случайно я знаю, откуда он взял эту веревочку. Может быть, для вашей книги и это пригодится. Отец снял эту веревочку с рукописи — один человек прислал ему свой роман из тюрьмы. Роман описывал конец света в 2000 году. Он назывался: «Ад 2000». Там описывалось, как психопаты-ученые сделали чудовищную бомбу, стершую все с

лица земли. Когда люди узнали, что скоро конец света, они устроили чудовищную оргию, а потом, за десять секунд до взрыва, появился сам Иисус Христос. Автора звали Марвин Шарп Холдернесс, и в письме, приложенном к роману, он писал отцу, что попал в тюрьму за убийство своего родного брата. Рукопись он прислал отцу, потому что не мог придумать, каким взрывчатым веществом начинить свою бомбу. Он просил отца что-нибудь ему подсказать.[3]

Не подумайте, что я читал эту рукопись, когда мне было шесть лет. Она валялась у нас дома много лет. Мой брат Фрэнк пристроил ее у себя в комнате в «стенном сейфе», как он говорил. На самом деле никакого сейфа у него не было, а был старый дымоход с жестяной вьюшкой. Сто тысяч раз мы с Фрэнком еще мальчишками читали описание оргии. Рукопись лежала у нас много-много лет, но потом моя сестра Анджела нашла ее. Она все прочла, сказала, что это дрянь, сплошная мерзость, просто гадость. И она сожгла рукопись вместе с веревочкой. Анджела была нам с Фрэнком матерью, потому что родная наша мать умерла, когда я родился.

---

[3] Сноски: 3

Т.е. 2000 год после Рождества Христова. — *Примеч. пер.*

Я уверен, что отец так и не прочитал эту книжку. По-моему, он и вообще за всю свою жизнь не прочел ни одного романа, даже ни одного рассказика, разве что в раннем детстве. Он никогда не читал ни писем, ни газет, ни журналов. Вероятно, он читал много научной литературы, но, по правде говоря, я никогда не видел отца за чтением.

Из всей той бандероли ему пригодилась только веревочка. Он всегда был такой. Невозможно было предугадать, что его заинтересует. В день, когда сбросили бомбу, его заинтересовала веревочка.

Читали ли вы речь, которую он произнес при вручении ему Нобелевской премии? Вот она вся целиком: «Леди и джентльмены! Я стою тут, перед вами, потому что всю жизнь я озирался по сторонам, как восьмилетний мальчишка весенним днем по дороге в школу. Я могу остановиться перед чем угодно, посмотреть, подумать, а иногда чему-то научиться. Я очень счастливый человек. Благодарю вас».

Словом, отец играл с веревочкой, а потом стал переплетать ее пальцами. И сплел такую штуку, которая называется «колыбель для кошки». Не знаю, где отец научился играть с веревочкой. Может быть, у своего отца. Понимаете, его отец

был портным, так что в доме, когда отец был маленьким, всегда валялись нитки и тесемки.

До того как отец сплел «кошкину колыбель», я ни разу не видел, чтобы он, как говорится, во что-то играл. Ему неинтересны были всякие забавы, игры, всякие правила, кем-то выдуманные. Среди вырезок, которые собирала моя сестра Анджела, была заметка из журнала «Тайм». Отца спросили, в какие игры он играет для отдыха, и он ответил: «Зачем мне играть в выдуманные игры, когда на свете так много настоящей игры».

Должно быть, он сам удивился, когда нечаянно сплел из веревочки «кошкину колыбель», а может быть, это напомнило ему детство. Он вдруг вышел из своего кабинета и сделал то, чего раньше никогда не делал, он попытался поиграть со мной. До этого он не только со мной никогда не играл, он почти со мной и не разговаривал.

А тут он опустился на колени около меня на ковер и оскалил зубы, и завертел у меня перед глазами плетенку из веревочки. «Видал? Видал? Видал? — спросил он. — Кошкина колыбель. Видишь кошкину колыбель? Видишь, где спит котеночек? Мяу! Мяу!»

Поры на его коже казались огромными, как кратеры на луне. Уши и ноздри заросли волосом.

От него несло сигарным дымом, как из врат ада. Ничего безобразнее, чем мой отец вблизи, я в жизни не видал. Мне и теперь он часто снится.

И вдруг он запел: «Спи, котеночек, усни, угомон тебя возьми. Придет серенький волчок, схватит киску за бочок, серый волк придет, колыбелька упадет».

Я заревел. Я вскочил и со всех ног бросился вон из дому.

Придется кончать. Уже третий час ночи. Мой сосед по комнате проснулся и жалуется, что машинка очень гремит.

6. Война жуков

Ньют дописал письмо на следующее утро. Вот что он написал:

«Утро. Пишу дальше, свежий как огурчик после восьмичасового сна. В нашем общежитии сейчас тишина. Все на лекциях, кроме меня. Я — личность привилегированная. Мне на лекции ходить не надо. На прошлой неделе меня исключили. Я был медиком-первокурсником. Исключили меня правильно. Доктор из меня вышел бы препаршивый.

Кончу это письмо и, наверно, схожу в кино. А если выглянет солнце, пойду погуляю вдоль обрыва. Красивые тут обрывы, верно? В этом году с одного из них бросились две девочки, держась за руки. Они не попали в ту корпорацию, куда хотели. Хотели они попасть в «Три-Дельта».

Однако вернемся к августу 1945 года. Моя сестра Анджела много раз говорила мне, что я очень обидел отца в тот день, когда не захотел полюбоваться «кошкиной колыбелью», не захотел посидеть на ковре и послушать, как отец поет. Может, я его и обидел, только, по-моему, он не мог

обидеться всерьез. Более защищенного от обид человека свет не видал. Люди никак не могли его задеть, потому что людьми он не интересовался. Помню, как-то раз, незадолго до его смерти, я пытался его заставить хоть что-нибудь рассказать о моей матери. И он ничего не мог вспомнить.

Слыхали ли вы знаменитую историю про завтрак в тот день, когда отец с матерью уезжали в Швецию получать Нобелевскую премию? Об этом писала «Сатердей ивнинг пост». Мать приготовила прекрасный завтрак… А потом, убирая со стола, она нашла около отцовского прибора монетки по двадцать пять и десять центов и три монетки по одному пенни. Он оставил ей на чай.

Страшно обидев отца, если только он мог обидеться, я выбежал во двор. Я сам не понимал, куда бегу, пока в зарослях таволги не увидел брата Фрэнка.

Фрэнку было тогда двенадцать лет, и я не удивился, застав его в зарослях. В жаркие дни он вечно лежал там. Он, как собака, вырыл себе ямку в прохладной земле, меж корней. Никогда нельзя было угадать, что он возьмет с собой туда. То принесет неприличную книжку, то бутылку лимонада с вином. В тот день, когда бросили бомбу, у Фрэнка были в руках столовая ложка и

стеклянная банка. Этой ложкой он сажал всяких жуков в банку и заставлял их драться.

Жуки дрались так интересно, что я сразу перестал плакать, совсем забыл про нашего старика. Не помню, кто там дрался у Фрэнка в тот день, но вспоминаю, как мы потом стравливали разных насекомых: жука-оленя с сотней рыжих муравьев, одну сороконожку с тремя пауками, рыжих муравьев с черными. Драться они начинают, только когда трясешь банку, Фрэнк как раз этим и занимался — он все тряс и тряс эту банку.

Потом Анджела пришла меня искать. Она раздвинула ветви и сказала: «Вот ты где!» Потом спросила Фрэнка, что он тут делает, и он ответил: «Экспериментирую». Он всегда так отвечал, когда его спрашивали, что он делает. Он всегда отвечал: «Экспериментирую».

Анджеле тогда было двадцать два года. С шестнадцати лет, с того дня, когда мать умерла, родив меня, она, в сущности, была главой семьи. Она всегда говорила, что у нее трое детей — я, Фрэнк и отец. И она не преувеличивала. Я вспоминаю, как в морозные дни мы все трое выстраивались в прихожей, и Анджела кутала нас всех по очереди, одинаково. Только я шел в детский сад, Фрэнк — в школу, а отец — работать над атомной бомбой.

Помню, однажды утром зажигание испортилось, радиатор замерз, и автомобиль не заводился. Мы все трое сидели в машине, глядя, как Анджела до тех пор нажимала на стартер, пока аккумулятор не сел. И тут заговорил отец. Знаете, что он сказал? «Интересно про черепах». Анджела его спросила: «А что тебе интересно про черепах?» И он сказал: «Когда они втягивают голову, их позвоночник сокращается или выгибается?»

Между прочим, Анджела — никем не воспетая героиня в истории создания атомной бомбы, и, кажется, об этом нигде не упоминается. Может, вам пригодится. После разговора о черепахах отец ими так увлекся, что перестал работать над атомной бомбой. В конце концов несколько сотрудников из группы «Манхэттенский проект» явились к нам домой посоветоваться с Анджелой, что же теперь делать. Она сказала, пусть унесут отцовских черепах. И однажды ночью сотрудники забрались к отцу в лабораторию и украли черепах вместе с террариумом. А он пришел утром на работу, поискал, с чем бы ему повозиться, над чем поразмыслить, а все, с чем можно было возиться, над чем размышлять, имело отношение к атомной бомбе.

Когда Анджела вытащила меня из-под куста,

она спросила, что у меня произошло с отцом. Но я только повторял, какой он страшный и как я его ненавижу. Тут она меня шлепнула. «Как ты смеешь так говорить про отца? — сказала она. — Он — великий человек, таких еще на свете не было! Он сегодня войну выиграл! Понял или нет? Он выиграл войну!» И она опять шлепнула меня.

Я не сержусь на Анджелу за шлепки. Отец был для нее всем на свете. Ухажеров у нее не было. И вообще никаких друзей. У нее было только одно увлечение. Она играла на кларнете.

Я опять сказал, что ненавижу отца, она опять меня ударила, но тут Фрэнк вылез из-под куста и дал ей под дых. Ей было ужасно больно. Она упала и покатилась. Сначала задохнулась, потом заплакала, закричала, стала звать отца.

«Да он не придет!» — сказал Фрэнк и засмеялся. Он был прав. Отец высунулся в окошко, посмотрел, как Анджела и я с ревом барахтаемся в траве, а Фрэнк стоит над нами и хохочет. Потом он опять скрылся в окне и даже не поинтересовался, из-за чего поднялась вся эта кутерьма. Люди были не по его специальности.

Вам это интересно? Пригодится ли для вашей книги? Разумеется, вы очень связали меня тем, что просили рассказать только о дне, когда сбро-

сили бомбу. Есть множество других интересных анекдотов про бомбу и отца, про другие времена. Известно ли вам, например, что он сказал в тот день, когда впервые провели испытания бомбы в Аламогордо? Когда эта штука взорвалась, когда стало ясно, что Америка может смести целый город одной-единственной бомбой, некий ученый, обратившись к отцу, сказал: «Теперь наука познала грех». И знаете, что сказал отец? Он сказал: «Что такое грех?»

Всего наилучшего, *Ньютон Хониккер».*

7. Прославленные хониккеры

Ньютон сделал к письму три постскриптума:

«P.S. Не могу подписаться «с братским приветом», потому что мне нельзя называться вашим собратом — у меня не то положение: меня только приняли кандидатом в члены корпорации, а теперь и этого лишат.

P.P.S. Вы называете наше семейство «прославленным», и мне кажется, что это будет ошибкой, если вы нас так станете аттестовать в вашей книжке. Например, я — лилипут, во мне всего четыре фута. А о Фрэнке мы слышали в последний раз, когда его разыскивала во Флориде полиция, ФБР и министерство финансов, потому что он переправлял краденые машины на списанных военных самолетах. Так что я почти уверен, что «прославленное» — не совсем то слово, какое вы ищете. Пожалуй, «нашумевшее» ближе к правде.

P.P.P.S. На другой день: перечитал письмо и вижу, что может создаться впечатление, будто я только и делаю, что сижу и вспоминаю всякие грустные вещи и очень себя жалею. На самом же деле я очень счастливый человек и чувствую это.

Я собираюсь жениться на прелестной крошке. В этом мире столько любви, что хватит на всех, надо только уметь искать. Я — лучшее тому доказательство».

8. Роман Ньюта и Зинки

Ньют не написал, кто его подружка. Но недели через две после его письма вся страна узнала, что зовут ее Зинка — просто Зинка. Фамилии у нее, как видно, не было.

Зинка была лилипуткой, балериной украинского ансамбля песни и пляски «Борзая». Случилось так, что Ньют попал на выступление этого ансамбля в Индианаполисе до того, как поступил в Корнеллский университет. А потом ансамбль выступал и в Корнелле. Когда концерт окончился, маленький Ньют уже стоял у служебного входа с букетом великолепных роз на длинных стеблях — «Краса Америки».

В газетах эта история появилась, когда крошка Зинка исчезла вместе с крошкой Ньютом.

Но через неделю после этого крошка Зинка объявилась в советском посольстве. Она сказала, что все американцы — жуткие материалисты. Она заявила, что хочет домой.

Ньют нашел прибежище в доме своей сестры в Индианаполисе. Газетам он дал короткое интервью: «Это дела личные… — сказал он. —

Сердечные дела. Я ни о чем не жалею. То, что случилось, никого не касается, кроме меня и Зинки...»

Один предприимчивый американский репортер в Москве, расспрашивая о Зинке кое-кого из балетных, узнал неприятный факт: Зинке было вовсе не двадцать три года, как она говорила.

Ей было сорок два — и Ньюту она в матери годилась.

9. Вице-президент, заведующий вулканами

Книга о дне, когда была сброшена бомба, что-то у меня не шла.

Примерно через год, за два дня до Рождества, другая тема привела меня в Илиум, штат Нью-Йорк, где доктор Феликс Хониккер проработал дольше всего и где выросли и крошка Ньют, и Фрэнк, и Анджела.

Я остановился в Илиуме посмотреть, нет ли там чего-нибудь интересного.

Живых Хониккеров в Илиуме не осталось, но там было множество людей, которые как будто бы отлично знали и старика, и трех его странноватых отпрысков.

Я сговорился о встрече с доктором Эйзой Бридом, вице-президентом Всеобщей сталелитейной компании, который заведовал научно-исследовательской лабораторией. Полагаю, что доктор Брид тоже был членом моего *карасса,* но он меня невзлюбил с первого взгляда.

«Приязнь и неприязнь тут никакого значения не имеют», — говорит Боконон, но это предупреж-

дение забывается слишком легко.

— Я слышал, что вы были заведующим лабораторией, когда там работал доктор Хониккер? — сказал я доктору Бриду по телефону.

— Только на бумаге, — сказал он.

— Не понял, — сказал я.

— Если бы я действительно был заведующим при Феликсе, — сказал он, — то теперь я мог бы заведовать вулканами, морскими приливами, перелетом птиц и миграцией леммингов. Этот человек был явлением природы, и ни один смертный управлять этой стихией не мог.

10. Тайный агент икс-9

Доктор Брид обещал принять меня на следующий день с самого утра. Он сказал, что заедет за мной по дороге на работу и тем самым упростит мой допуск в научно-исследовательскую лабораторию, куда вход был строго воспрещен.

Поэтому вечером мне некуда было девать время. Я жил в отеле «Эль Прадо» — средоточии всей ночной жизни в Илиуме. В баре отеля «Мыс Код» собирались все проститутки.

Случилось так («должно было так случиться», — сказал бы Боконон), что гулящая девица и бармен, обслуживавший меня, когда-то учились в школе вместе с Фрэнклином Хониккером — мучителем жуков, средним сыном, пропавшим отпрыском Хониккеров.

Девица, назвавшая себя Сандрой, предложила мне наслаждения, какие нельзя получить нигде в мире, кроме площади Пигаль и Порт-Саида. Я сказал, что мне это неинтересно, и у нее хватило остроумия сказать, что и ей это тоже ничуть не интересно. Как потом оказалось, мы оба несколько преувеличивали наше равнодушие, хотя и не

слишком.

Но до того, как мы стали сравнивать наши вкусы, у нас завязался долгий разговор — мы поговорили о Фрэнке Хониккере, поговорили о его папаше, немножко поговорили о докторе Эйзе Бриде, поговорили о Всеобщей сталелитейной компании, поговорили о римском папе и контроле над рождаемостью, о Гитлере и евреях. Мы говорили о жуликах. Мы говорили об истине. Мы говорили о гангстерах и о бизнесе. Поговорили мы и о симпатичных бедняках, которых сажают на электрический стул, и о подлых богачах, которых не сажают. Мы говорили о ханжах-извращенцах. Мы поговорили об очень многом.

И мы напились.

Бармен очень хорошо обращался с Сандрой. Он ее любил. Он ее уважал. Он сказал, что в илиумской средней школе Сандра была председателем комиссии по выбору цвета для классной формы.

Каждый класс, объяснил он, должен был выбрать свои цвета и с гордостью носить эти цвета до окончания.

— Какие же цвета вы выбрали? — спросил я.

— Оранжевый и черный.

— Красиво.

— По-моему, тоже.

— А Фрэнклин Хониккер тоже участвовал в этой комиссии?

— Ни в чем он не участвовал, — с презрением сказала Сандра. — Никогда он не был ни в одной комиссии, никогда не играл в игры, никогда не приглашал девочек в кино. По-моему, он с девчонками вообще не разговаривал. Мы его прозвали тайный агент Икс-9.

— Икс-9?

— Ну, сами понимаете — он вечно притворялся, будто бежит с одной тайной явки на другую, будто ему ни с кем и разговаривать нельзя.

— А может быть, у него и вправду была очень сложная тайная жизнь?

— Не-ет.

— Не-ет! — насмешливо протянул бармен. — Обыкновенный мальчишка, из тех, что вечно мастерят игрушечные самолеты и вообще занимаются черт-те чем…

11. Протеин

— Он должен был выступать у нас в школе на выпускном вечере с приветственной речью.

— Вы о ком? — спросил я.

— О докторе Хониккере — об их отце.

— Что же он сказал?

— Он не пришел.

— Значит, вы так и остались без приветственной речи?

— Нет, речь была. Прибежал доктор Брид, тот самый, вы его завтра увидите, весь в поту, и чего-то нам наговорил.

— Что же он сказал?

— Говорил: надеюсь, что многие из вас сделают научную карьеру, — сказала Сандра. Эти слова ей не казались смешными. Она просто повторяла урок, который произвел на нее впечатление. И повторяла она его с запинками, но добросовестно. — Он говорил: беда в том, что весь мир… — тут она остановилась, подумала, — беда в том, что весь мир, — запинаясь продолжала она, — что все люди живут суевериями, а не наукой. Он сказал, что если бы все больше изучали науки, то не было

бы тех бедствий, какие на нас свалились.

— Он еще сказал, что наука когда-нибудь откроет основную тайну жизни, — вмешался бармен, потом почесал затылок и нахмурился: — Что-то я читал на днях в газете, будто нашли, в чем секрет, вы не помните?

— Не читал, — пробормотал я.

— А я читала, — сказала Сандра, — позавчера, что ли.

— Ну, и в чем же тайна жизни? — спросил я.

— Забыла, — сказала Сандра.

— Протеин, — заявил бармен, — чего-то они там открыли про этот самый протеин.

— Ага, — сказала Сандра, — точно.

12. Предел наслаждения

В это время в баре «Мыс Код», при отеле «Эль Прадо», к нам присоединился бармен постарше. Услыхав, что я пишу книгу о дне, когда сбросили бомбу, он рассказал мне, как он провел этот день, как он его провел именно в этом самом баре, где мы сидели. Говорил он с растяжкой, как клоун Филдс, а нос у него был похож на отборную клубничину.

— Тогда бар назывался не «Мыс Код», — сказал он, — не было этих сетей и ракушек, всей этой холеры. Назывался он «Вигвам Навахо». На всех стенах индейские одеяла понавешены, коровьи черепа. А на столиках — тамтамы, махонькие такие. Хочешь позвать официанта — бей в этот тамтамик. Уговаривали меня надеть перья на голову, только я отказался. Раз пришел сюда один настоящий индеец из племени навахо. Говорит, племя навахо в вигвамах не живет. «Вот холера, — говорю, — как нехорошо вышло». А еще раньше этот бар назывался «Помпея», всюду обломков полно, мраморных всяких. Да только, как его ни зови, электропроводку, холеру, так и не сменили.

И народ, холера, такой же остался, и город, холера, все тот же. А в тот день, как сбросили на японцев эту холеру, бомбу эту, зашел сюда один тип, стал клянчить — дай ему выпить, раз уж все равно настал конец света. Я ему сбил коктейль «Предел наслаждения». Выдолбил я ананас, налил туда полпинты мятного ликера, наложил взбитых сливок, а сверху вишню. «Пей, — говорю, — сукин ты сын, чтоб не жаловался, будто я для тебя ничего не сделал». А потом пришел второй, говорит: ухожу из лаборатории, и еще говорит: над чем бы ученые ни работали, у них все равно получается оружие. Не желаю, говорит, больше помогать политиканам разводить эту холеру войну, фамилия ему была Брид. Спрашиваю: не родственник ли он босса той растреклятой лаборатории? А как же, говорит. Я, говорит, сын этого самого босса, холера его задави.

13. Трамплин

О Господи, до чего безобразный город этот Илиум!

«О Господи! — говорит Боконон. — До чего безобразный город, любой город на свете!»

Копоть оседала на все сквозь недвижную пелену тумана. Было раннее утро. Я ехал в «линкольне» с доктором Эйзой Бридом. Меня слегка мутило, я еще не совсем проспался после вчерашнего пьянства. Доктор Брид вел машину. Рельсы давно заброшенной узкоколейки то и дело цеплялись за колеса машины.

Доктор Брид, розовощекий старик, был прекрасно одет и, по-видимому, очень богат. Держался он интеллигентно, оптимистично, деловито и невозмутимо. Я же, напротив, чувствовал себя колючим, больным циником. Ночь я провел с Сандрой.

Душа моя смердела, как дым от паленой кошачьей шерсти.

Про всех я думал самое скверное, а про доктора Брида я узнал от Сандры довольно мрачную историю.

Сандра рассказала мне, будто весь Илиум был уверен, что доктор Брид был влюблен в жену Феликса Хониккера. Она сказала, что многие считали, будто Брид был отцом всех троих детей Хониккера.

— Вы бывали когда-нибудь в Илиуме? — спросил меня доктор Брид.

— Нет, я тут впервые.

— Город тихий, семейный.

— Как?

— Тут почти никакой ночной жизни нет. У каждого жизнь ограничена семейным кругом, своим домом.

— По-видимому, обстановка тут здоровая.

— Конечно. У нас и юношеской преступности очень мало.

— Прекрасно.

— У города Илиума интереснейшая история.

— Вот как? Интересно.

— Он был, так сказать, трамплином.

— Как?

— Для эмигрантов, уходящих на Запад.

— А-а-а…

— Тут их снаряжали в дорогу. Примерно там, где сейчас научно-исследовательская лаборатория, находилась старая площадь, огороженная

частоколом. Кстати, там и преступников со всего штата вешали публично.

— Наверное, и тогда преступления к добру не вели, как и сейчас.

— Тут повесили одного малого в 1782 году, он убил двадцать шесть человек. Я часто думал — надо бы кому-нибудь написать про него книжку. Его звали Джордж Майнор Мокли. Он пел песню на эшафоте. Сам сочинил песню на такой случай.

— О чем же он пел?

— Можете найти текст в Историческом обществе, если вам действительно интересно.

— Нет, я вообще спросил: о чем там говорилось?

— Что он ни в чем не раскаивается.

— Да, есть такие люди.

— Только подумать, — сказал доктор Брид, — что у него на совести было целых двадцать шесть человек!

— С ума сойти! — сказал я.

14. Когда в автомобилях висели хрустальные вазочки

Голова у меня болела, шея затекла, а тут меня еще тряхнуло. Блестящий «линкольн» доктора Брида опять зацепился за рельс.

Я спросил доктора Брида, сколько человек пытается добраться к восьми утра на работу во Всеобщую сталелитейную компанию, и он сказал: тридцать тысяч.

Полицейские в желтых дождевиках стояли на каждом перекрестке, и каждый жест их рук в белых перчатках противоречил вспышкам светофора.

А светофоры пестрыми призраками вспыхивали сквозь туман в непрестанной шутовской игре, направляя лавину автомобилей. Зеленый — ехать, красный — стоять, оранжевый — осторожно, смена.

Доктор Брид рассказал мне, что, когда доктор Хониккер был еще совсем молодым человеком, он однажды утром просто-напросто бросил свою машину в потоке илиумских машин.

— Полиция стала искать, что задерживает дви-

жение, — сказал доктор Брид, — и в самой гуще обнаружила машину Феликса, мотор жужжал, в пепельнице догорала сигара, в вазочках стояли свежие цветы.

— В каких вазочках?

— У него был «мармон», величиной с небольшой паровоз, и на дверцах внутри были приделаны хрустальные вазочки, куда жена Феликса каждое утро ставила свежие цветы. Вот эта машина и стояла посреди потока машин.

— Как шхуна *«Мария Селеста»*, — подсказал я.

— Полицейские вывели машину. Они знали, чья она, позвонили Феликсу и очень вежливо объяснили, откуда он может ее забрать. А Феликс сказал, что они могут оставить машину себе, она ему больше не нужна.

— И они ее забрали?

— Нет. Они позвонили его жене, она пришла и увела машину.

— Кстати, как ее звали?

— Эмили. — Доктор Брид провел языком по губам, и взгляд его помутнел, и он снова повторил имя женщины, которой давно не было на свете: — Эмили.

— Как вы думаете, никто не будет возражать, если я использую эту историю в своей книге?

— Нет, если только вы не станете писать, чем это кончилось.

— Чем кончилось?

— Эмили не привыкла водить машину. По дороге домой она попала в автокатастрофу. Ей повредило тазовые кости… — Движение остановилось, доктор Брид закрыл глаза и крепче вцепился в руль. — Вот почему она умерла, когда родился маленький Ньют.

15. Счастливого рождества!

Научно-исследовательская лаборатория Всеоб-щей сталелитейной компании находилась недалеко от главного входа на илиумские заводы компании, примерно в квартале от площадки для служебных машин, где доктор Брид поставил свой «линкольн».

Я спросил доктора Брида, сколько человек занято в научно-исследовательских лабораториях.

— Семьсот человек, — сказал он, — но лишь около ста из них действительно заняты научными исследованиями. Остальные шестьсот так или иначе занимаются хозяйством, а главная экономка — это я.

Когда мы влились в поток пешеходов на заводской улице, женский голос сзади нас пожелал доктору Бриду счастливого Рождества. Доктор Брид обернулся, благосклонно вглядываясь в море бледных, как недопеченные пироги, лиц, и обнаружил, что приветствовала его некая мисс Франсина Пефко. Мисс Пефко была недурненькая здоровая барышня лет двадцати, заурядная и скучная.

Проникаясь, как и полагается на Рождество, чувством благоволения, доктор Брид пригласил мисс Пефко следовать за нами. Он представил ее мне как секретаря доктора Нильсака Хорвата. Он объяснил мне, кто такой доктор Хорват: «Знаменитый химик, специалист по поверхностному натяжению, — сказал он, — тот, что делает такие чудеса с пленкой».

— Что нового в химии поверхностного натяжения? — спросил я у мисс Пефко.

— А черт его знает! — сказала она. — Лучше не спрашивайте. Я просто пишу на машинке то, что он мне диктует. — И она тут же извинилась, что сказала «черт».

— По-моему, вы понимаете больше, чем вам кажется, — сказал доктор Брид.

— Я? Вот уж нет! — Мисс Пефко, видно, не привыкла запросто болтать с такими важными людьми, как доктор Брид, и чувствовала себя очень неловко. Походка у нее стала манерной и напряженной, как у курицы. Лицо остекленело в улыбке, и она явно ворошила свои мозги, ища, что бы такое сказать, но там ничего, кроме бумажных салфеточек и дешевой бижутерии, не находилось.

— Ну-с, — благожелательно пророкотал доктор

Брид. — Как вам у нас нравится, ведь вы тут уже давно? Почти год, а?

— Все вы, ученые, чересчур много *думаете*! — выпалила мисс Пефко. Она залилась идиотским смехом. От приветливости доктора Брида у нее в мозгу перегорели все пробки. Она уже ни за что не отвечала. — Да, все вы *думаете* слишком много!

Толстая унылая женщина в грязном комбинезоне, задыхаясь, семенила рядом с нами, слушая, что говорит мисс Пефко. Она обернулась к доктору Бриду, глядя на него с беспомощным упреком. Она ненавидела людей, которые слишком много думают. В эту минуту она показалась мне достойной представительницей всего рода человеческого.

По выражению лица толстой женщины я понял, что она тут же, на месте, сойдет с ума, если хоть кто-нибудь еще будет что-то выдумывать.

— Вы должны понять, — сказал доктор Брид, — что у всех людей процесс мышления одинаков. Только ученые думают обо всем по-своему, а другие люди — по-другому.

— Ох-хх… — равнодушно вздохнула мисс Пефко. — Пишу под диктовку доктора Хорвата — и как будто все по-иностранному. Наверно, я ничего не поняла бы, даже если б кончила колледж.

А он, может быть, говорит о чем-то таком, что перевернет весь мир кверху ногами, вывернет наизнанку, как атомная бомба.

— Бывало, приду домой из школы, — продолжала мисс Пефко, — мама спрашивает, что случилось за день, я ей рассказываю. А теперь прихожу домой с работы, она спрашивает, а я ей одно твержу. — Тут мисс Пефко покачала головой и распустила накрашенные губы. — Не знаю, не знаю, не знаю…

— Но если вы чего-то не понимаете, — настойчиво сказал доктор Брид, — попросите доктора Хорвата объяснить вам. Доктор Хорват прекрасно умеет объяснять. — Он обернулся ко мне: — Доктор Хониккер любил говорить, что ученый, который не умеет популярно объяснить восьмилетнему ребенку, чем он занимается, — шарлатан.

— Выходит, я глупей восьмилетнего ребенка, — уныло сказала мисс Пефко. — Я даже не знаю, что такое шарлатан.

16. Возвращение в детский сад

Мы поднялись по четырем гранитным ступеням в научно-исследовательскую лабораторию. Лаборатория находилась в шестиэтажном здании из красного кирпича. У входа мы миновали двух охранников, вооруженных до зубов.

Мисс Пефко предъявила левому стражу розовый значок секретного допуска, приколотый на ее левой груди.

Доктор Брид предъявил правому стражу черный значок «совершенно секретно» на мягком лацкане пиджака. Он церемонно обхватил меня рукой за плечи, почти не прикасаясь к ним, давая стражам понять, что я нахожусь под его высоким покровительством и наблюдением.

Я улыбнулся одному из охранников. Он и бровью не повел. Ничего смешного в охране государственной тайны не было, решительно ничего смешного.

Доктор Брид, мисс Пефко и я осторожно проследовали через огромный вестибюль лаборатории к лифтам.

— Попросите доктора Хорвата как-нибудь объ-

яснить вам хоть основы, — сказал доктор Брид мисс Пефко. — Вот увидите, он хорошо и ясно на все вам ответит.

— Ему придется начинать с первого класса, а может быть, и с детского сада, — сказала мисс Пефко. — Я столько пропустила.

— Все мы много пропустили, — сказал доктор Брид. — Всем нам не мешало бы начать все сначала — предпочтительно с детского сада.

Мы смотрели, как дежурная по лаборатории включила множество наглядных пособий, уставленных по стенам лабораторного вестибюля. Дежурная была худая и высокая, с бледным ледяным лицом. От ее точных прикосновений вспыхивали лампочки, крутились колеса, бурлила жидкость в колбах, звякали звонки.

— Колдовство, — сказала мисс Пефко.

— Мне жаль, что член нашей лабораторной семьи употребляет это заплесневелое средневековое слово, — сказал доктор Брид. — Каждое из этих пособий понятно само по себе. Они и задуманы так, чтобы в них не было никакой мистификации. Они — прямая антитеза колдовству.

— Прямая что?

— Прямая противоположность.

— Только не для меня. Доктор Брид слегка надулся.

— Что ж, — сказал он, — во всяком случае, мы никого мистифицировать не хотим. Признайте за нами хотя бы эту заслугу.

17. Девичье бюро

Секретарша доктора Брида стояла у него в приемной, на своем письменном столе, подвешивая к люстре елочный бумажный колокол гармошкой.

— Послушайте, Ноэми, — воскликнул доктор Брид, — у нас полгода не было ни одного несчастного случая. Нечего вам портить статистику и падать со стола.

Мисс Ноэми Фауст была сухонькая веселенькая старушка. По-моему, она прослужила у доктора Брида почти всю его, да и всю свою жизнь.

Она засмеялась:

— Я небьющаяся. А если бы я даже упала, рождественские ангелы подхватили бы меня.

— И у них промашки бывали.

С языка колокола свисали две бумажные ленты, тоже сложенные гармошкой. Мисс Фауст подергала одну ленту. Она натянулась, разворачиваясь, и превратилась в длинную полосу с надписью.

— Держите, — сказала мисс Фауст, подавая конец ленты доктору Бриду. — Тяните до конца и прикнопьте хвостик к доске объявлений.

Доктор Брид послушно все выполнил и отсту-

пил, чтобы прочесть лозунг на ленте.

— «Земле мир!» — радостно прочел он вслух. Мисс Фауст спустилась со стола с другой лентой и развернула ее:

— «И в человецех благоволение!»

— Черт возьми! — засмеялся доктор Брид. — Они и Рождество засушили. Но вид у комнаты праздничный, очень праздничный.

— И я не забыла про плитки шоколада для девичьего бюро! — сказала мисс Фауст. — Вы мной гордитесь?

Доктор Брид постучал себя по лбу, огорченный своей забывчивостью:

— Ну, слава Богу! Совершенно вылетело из головы!

— Никак нельзя забывать, — сказала мисс Фауст. — Это стало традицией: доктор Брид каждое Рождество дарит девушкам из бюро по плитке шоколада. — И она объяснила мне, что «девичьим бюро» у них называется машинное бюро в подвальном помещении лаборатории. — Девушки работают на всех, у кого есть диктофон.

Весь год, объяснила она, девушки из машинного бюро слушают бесплотные голоса ученых, записанные на диктофонной пленке, пленки приносят курь-ерши. Только раз в году девушки

покидают свой железобетонный монастырь и получают новогодний подарок — по плиточке шоколада от доктора Брида.

— Они тоже служат науке, — подтвердил доктор Брид, — хотя, наверно, ни слова из записей не понимают. Благослови их Бог всех, всех…

18. Самый ценный товар на свете

Когда мы вошли в кабинет доктора Брида, я попытался привести в порядок свои мысли, чтобы взять толковое интервью. Но я обнаружил, что мое умственное состояние ничуть не улучшилось. А когда я стал задавать доктору Бриду вопрос о дне, когда сбросили бомбу, я также обнаружил, что мои мозговые центры, ведающие контактами с внешней средой, затуманены с похмелья вонью паленой кошачьей шерсти. Какой бы вопрос я ни задавал, выходило, что я считаю создателей атомной бомбы уголовными преступниками, соучастниками в гнуснейшем убийстве.

Сначала доктор Брид удивлялся, потом очень обиделся. Он отодвинулся от меня и ворчливо буркнул:

— По-моему, вы не очень-то жалуете ученых.

— Я бы не сказал этого, сэр.

— Вы так ставите вопросы, словно хотите вынудить у меня признание, что все ученые — бессердечные, бессовестные, узколобые тупицы, равнодушные ко всему остальному человечеству, а может быть, и вообще какие-то нелюди.

— Пожалуй, это слишком резко.

— По всей вероятности, ничуть не резче вашей будущей книжки. Я считал, что вы задумали честно и объективно написать биографию доктора Феликса Хониккера, что для молодого писателя в наше время, в наш век, задача чрезвычайно значительная. Оказывается, ничего похожего, и вы сюда явились с предубеждением, представляя себе ученых какими-то психопатами. Откуда вы это взяли? Из комиксов, что ли?

— Ну хотя бы от сына доктора Хониккера.

— От которого из сыновей?

— От Ньютона, — сказал я. У меня с собой было письмо малютки Ньюта, и я показал это письмо доктору Бриду. — Кстати, он и вправду такой маленький?

— Не выше подставки для зонтов, — сказал доктор Брид, читая письмо и хмурясь.

— А двое других детей нормальные?

— Конечно! К сожалению, должен вас разочаровать, но ученые производят на свет таких же детей, как и все люди.

Я приложил все усилия, чтобы успокоить доктора Брида, убедить его, что я и в самом деле стремлюсь создать для себя правдивый образ доктора Хониккера.

— Цель моего приезда — как можно точнее записать все, что вы мне расскажете о докторе Хониккере. Письмо Ньютона — только начало поисков, я непременно сверю его с тем, что вы мне сообщите.

— Мне надоели люди, не понимающие, что такое ученый, что именно делает ученый.

— Постараюсь изжить это непонимание.

— Большинство людей у нас в стране даже не представляют себе, что такое чисто научные исследования.

— Буду очень благодарен, если вы мне это объясните.

— Это не значит искать усовершенствованный фильтр для сигарет, или более мягкие бумажные салфетки, или более устойчивые краски для зданий — нет, упаси Бог! Все у нас говорят о научных исследованиях, а фактически никто ими не занимается. Мы — одна из немногих компаний, которая действительно приглашает людей для чисто исследовательской работы. Когда другие компании хвастают, что у них ведется научная работа, они имеют в виду коммерческих техников-лаборантов в белых халатах, которые работают по всяким поваренным книжкам и выдумывают новый образец «дворника» для

новейшей модели «олдсмобиля».

— А у вас?

— А у нас, и еще в очень немногих местах, людям платят за то, что они расширяют познание мира и работают только для этой цели.

— Это большая щедрость со стороны вашей компании.

— Никакой щедрости тут нет. Новые знания — самый ценный товар на свете. Чем больше истин мы открываем, тем богаче мы становимся.

Будь я уже тогда последователем Боконона, я бы от этих слов просто взвыл.

19. Конец грязи

— Вы хотите сказать, что в вашей лаборатории никому не указывают, над чем работать? — спросил я доктора Брида. — Никто даже не предлагает им работать над чем-то?

— Конечно, предложения поступают все время, но не в духе настоящего ученого обращать внимание на любые предложения. У него голова набита собственными проектами, а нам только это и нужно.

— А кто-нибудь когда-нибудь предлагал доктору Хониккеру какие-то свои проекты?

— Конечно. Особенно адмиралы и генералы. Они считали его каким-то волшебником, который одним мановением волшебной палочки может сделать Америку непобедимой. Они приносили сюда всякие сумасшедшие прожекты, да и сейчас приносят. Единственный недостаток этих прожектов в том, что на уровне наших теперешних знаний они неосуществимы. Предполагается, что ученые калибра доктора Хониккера могут восполнить этот пробел. Помню, как незадолго до смерти Феликса его изводил один генерал мор-

ской пехоты, требуя, чтобы тот сделал что-нибудь с грязью.

— С грязью?!

— Чуть ли не двести лет морская пехота шлепала по грязи, и им это надоело, — сказал доктор Брид. — Генерал этот, как их представитель, считал, что одним из достижений прогресса должно быть избавление морской пехоты от необходимости сражаться в грязи.

— Как же это он себе представлял?

— Чтобы грязи не было. Конец всякой грязи.

— Очевидно, — сказал я, пробуя теоретизировать, — это можно сделать при помощи огромных количеств каких-нибудь химикалий или тяжелых машин…

— Нет, генерал именно говорил о какой-нибудь пилюльке или крошечном приборчике. Дело в том, что морской пехоте не только осточертела грязь, но им надоело таскать на себе тяжелую выкладку. Им хотелось носить что-нибудь *легонькое.*

— Что же на это сказал доктор Хониккер?

— Как всегда, полушутя, а Феликс все говорил полушутя, он сказал, что можно было бы найти крохотное зернышко — даже микроскопическую кроху, — от которой бесконечные болота, тря-

сины, лужи, хляби и зыби затвердевали бы, как этот стол.

Доктор Брид стукнул своим веснушчатым старческим кулаком по письменному столу. Письменный стол у него был овальный, цвета морской волны.

— Один моряк мог бы нести на себе достаточное количество вещества, чтобы высвободить застрявший в болотах бронетанковый дивизион. По словам Феликса, все вещество, потребное для этого, могло бы уместиться у одного солдата морской пехоты под ногтем мизинца.

— Но это невозможно!

— Это вы так думаете. И я бы так сказал, и любой другой тоже. А для Феликса, с его полушутливым подходом ко всему, это казалось вполне возможным. Чудом в Феликсе было то, что он всегда — и я искренне надеюсь, что вы об этом упомянете в своей книге, — он всегда подходил к старым загадкам, как будто они совершенно новые.

— Сейчас я чувствую себя Франсиной Пефко, — сказал я, — или сразу всеми барышнями из девичьего бюро. Даже доктор Хониккер не сумел бы объяснить мне, каким образом что-то умещающееся под ногтем мизинца может превратить болото в твердое, как ваш стол, вещество.

— Но я вам говорил, как прекрасно Феликс все умел объяснять.

— И все-таки…

— Он мне все сумел объяснить, — сказал доктор Брид. — И я уверен, что смогу объяснить и вам. В чем задача? В том, чтобы вытащить морскую пехоту из болот, так?

— Так.

— Отлично, — сказал доктор Брид, — слушайте же внимательно. Начнем.

20. Лед-девять

— Различные жидкости, — начал доктор Брид, — кристаллизуются, то есть замораживаются, различными путями, то есть их атомы различным путем смыкаются и застывают в определенном порядке.

Старый доктор, жестикулируя веснушчатыми руками, попросил меня представить себе, как можно по-разному сложить пирамидку из пушечных ядер на лужайке перед зданием суда, как по-разному укладывают в ящики апельсины.

— Вот так и с атомами в кристаллах, и два разных кристалла того же вещества могут обладать совершенно различными физическими свойствами.

Он рассказал мне, как на одном заводе вырабатывали крупные кристаллы этилендиамин-тар-трата.

— Эти кристаллы, — сказал он, — применялись в каком-то техническом процессе. Но однажды на заводе обнаружили, что кристаллы, выработанные этим путем, потеряли свои прежние свойства, необходимые на производстве. Атомы

складывались и сцеплялись, то есть замерзали, по-иному. Жидкость, которая кристаллизовалась, не изменялась, но сами кристаллы для использования в промышленности уже не годились.

Как это вышло, осталось тайной. Теоретически «злодеем» была частица, которую доктор Брид назвал *зародыш.* Он подразумевал крошечную частицу, определившую нежелательное смыкание атомов в кристалле. Этот *зародыш,* взявшийся неизвестно откуда, научил атомы новому способу соединения в решетки, то есть новому способу кристаллизации, замораживания.

— Теперь представьте себе опять пирамидку пушечных ядер или апельсины в ящике, — сказал доктор Брид. И он мне объяснил, как строение нижнего слоя пушечных ядер или апельсинов определяет сцепление и спайку всех последующих слоев. Этот нижний слой и есть *зародыш* того, как будет себя вести каждое следующее пушечное ядро, каждый следующий апельсин, и так до бесконечного количества ядер или апельсинов.

— Теперь представьте себе, — с явным удовольствием продолжал доктор Брид, — что существует множество способов кристаллизации, замораживания воды. Предположим, что

тот лед, на котором катаются конькобежцы и который кладут в коктейли — мы можем назвать его «лед-один», — представляет собой только один из вариантов льда. Предположим, что вода на земном шаре всегда превращалась в лед-один, потому что ее не коснулся зародыш, который бы направил ее, научил превращаться в *лед-два, лед-три, лед-четыре…* И предположим, — тут его старческий кулак снова стукнул по столу, — что существует такая форма — назовем ее *лед-девятъ* — кристалл, твердый, как этот стол, с точкой плавления или таяния, скажем, сто градусов по Фаренгейту, нет, лучше сто тридцать градусов.

— Ну, хорошо, это я еще понимаю, — сказал я.

И тут доктора Брида прервал шепот из приемной, громкий, многоголосый шепот. В приемной собралось девичье бюро.

Девушки собирались петь.

И они запели, как только мы с доктором Бридом показались в дверях кабинета. Все девушки нарядились церковными хористками: они сделали себе воротники из белой бумаги, приколов их скрепками. Пели они прекрасно.

Я чувствовал растерянность и сентиментальную грусть. Меня всегда трогает это редкостное сокровище — нежность и теплота девичьих го-

лосов.

Девушки пели: «О светлый город Вифлеем». Мне никогда не забыть, как выразительно они пропели: «Страх и надежда прошлых лет вернулись к нам опять».

21. Морская пехота наступает

Когда старый доктор Брид с помощью мисс Фауст раздал девушкам рождественские шоколадки, мы с ним вернулись в кабинет.

Там он продолжал рассказ.

— Где мы остановились? А-а, да! — И старик попросил меня представить себе отряд морской пехоты США в забытой Богом трясине. — Их машины, их танки и гаубицы барахтаются в болоте, — жалобно сказал он, — утопая в вонючей жиже, полной миазмов.

Он поднял палец и подмигнул мне:

— Но представьте себе, молодой человек, что у одного из моряков есть крошечная капсула, а в ней — зародыш *льда-девять*ъ, в котором заключен новый способ перегруппировки атомов, их сцепления, соединения, замерзания. И если этот моряк швырнет этот зародыш в ближайшую лужу?..

— Лужа замерзнет? — угадал я.

— А вся трясина вокруг лужи?

— Тоже замерзнет?

— А другие лужи в этом болоте?

— И они тоже замерзнут?

— А вода, родники и ручьи в замерзшем болоте?

— Замерзнут?

— Вот именно — замерзнут! — воскликнул он. — И морская пехота США выберется из трясины и ринется в бой!

22. Молодчик из желтой прессы

— А есть такое вещество? — спросил я.

— Да нет же, нет, нет, нет. — Доктор Брид опять рассердился на меня. — Я рассказал вам все это только для того, чтобы вы представили себе, как Феликс совершенно по-новому подходил даже к самым старым проблемам. Я вам рассказал только то, что Феликс рассказал генералу морской пехоты, который приставал к нему насчет болот.

Обычно Феликс обедал в одиночестве в кафетерии. По неписаному закону никто не должен был садиться к его столику, чтобы не прервать ход его мыслей. Но этот генерал вошел, пододвинул стул и стал говорить про болота. И я вам только передал, что Феликс тут же, с ходу, ответил ему.

— Так, значит… значит, этого вещества на самом деле нет?

— Я же вам только что сказал — нет и нет! — вспылил доктор Брид. — Феликс вскоре умер. И если бы вы слушали внимательно то, что я пытался объяснить вам про наших ученых, вы бы не задавали таких вопросов! Люди чистой науки работают над тем, что увлекает их, а не над тем,

что интересует других людей.

— А я все думаю про то болото…

— А вы *бросьте* думать об этом! Я только взял болото как пример, чтобы вам объяснить все, что надо.

— Если ручьи, протекающие через болото, превратятся в *лед-девять*, что же будет с реками и озерами, которые питаются этими ручьями?

— Они замерзнут. Но никакого *льда-девять* нет!

— А океаны, в которые впадают замерзшие реки?

— Ну и они, конечно, замерзнут! — рявкнул он. — Уж не разлетелись ли вы продать прессе сенсационное сообщение про *лед-девять?* Повторяю — его нет в природе.

— А ключи, которые питают замерзшие реки и озера, а все подземные источники, питающие эти ключи…

— Замерзнут, черт побери! — крикнул он. — Ну, если бы я только знал, что имею дело с молодчиком из желтой прессы, — сказал он, величественно подымаясь со стула, — я бы не потратил на вас ни минуты.

— А дождь?

— Коснулся бы земли и превратился в твердые

лепешечки, в *лед-девять*, и настал бы конец света. А сейчас настал конец и нашей беседе! Прощайте!

23. Последняя порция пончиков

Но по крайней мере в одном доктор Брид ошибался: *лед-девять*ь существовал.

И *лед-девять*ь существовал на нашей Земле.

*Лед-девят*ъ был последнее, что подарил людям Феликс Хониккер, перед тем как ему было воздано по заслугам.

Ни один человек не знал, что он делает. Никаких записей он не оставил.

Правда, для создания этого вещества потребовалась сложная аппаратура, но она уже существовала в научно-исследовательской лаборатории. Доктору Хониккеру надо было только обращаться к соседям, одалживать у них то один, то другой прибор, надоедая им по-добрососедски, пока он, так сказать, не испек последнюю серию пончиков.

Он сделал кубик *льда-девят*ъ! Голубовато-белого цвета. С температурой таяния сто четырнадцать и четыре десятых по Фаренгейту.

Феликс Хониккер положил кубик в маленькую бутылочку и сунул бутылочку в карман. И уехал к себе на дачу, на мыс Код, с тремя детьми, соби-

раясь встретить там Рождество.

Анджеле было тридцать четыре, Фрэнку — двадцать четыре, крошке Ньюту — восемнадцать лет.

Старик умер в сочельник, успев рассказать своим детям про *лед-девятъ.*

Его дети разделили кусочек *льда-девять* между собой.

24. Что такое вампитер

Тут мне придется объяснить, что Боконон называет *вампитером.*

Вампитер есть ось всякого *карасса.* Нет *карасса* без *вампитера,* учит вас Боконон, так же как нет колеса без оси.

Вампитером может служить что угодно — дерево, камень, животное, идея, книга, мелодия, святой Грааль. Но что бы ни служило этим *вампитером,* члены одного *карасса* вращаются вокруг него в величественном хаосе спирального облака. Разумеется, орбита каждого члена *карасса* вокруг их общего *вампитера* — чисто духовная орбита. Не тела их, а души описывают круги. Как учит нас петь Боконон:

Кружимся, кружимся — и все на месте:
Ноги из олова, крылья из жести.

Но *вампитеры* приходят, и *вампитеры* уходят, учит нас Боконон.

В каждую минуту у каждого *карасса* фактически есть два *вампитера:* один приобретает все большее значение, другой постепенно теряет.

И я почти уверен, что, пока я разговаривал с доктором Бридом в Илиуме, *вампитером* моего *карасса,* набиравшим силу, была эта кристаллическая форма воды, эта голубовато-белая драгоценность, этот роковой зародыш гибели, называемый *лед-девять.*

В то время как я разговаривал с доктором Бридом в Илиуме, Анджела, Фрэнклин и Ньютон Хониккеры уже владели зародышами *льда-девять,* зародышами, зачатыми их отцом, так сказать, осколками мощной глыбы.

И я твердо уверен, что дальнейшая судьба этих трех осколков *льда-девять* была основной заботой моего *карасса.*

25. Самое главное в жизни доктора Хониккера

Вот все, что я могу пока сказать о *вампитере* моего *карасса.*

После неприятного интервью с доктором Бридом в научно-исследовательской лаборатории Всеобщей сталелитейной компании я попал в руки мисс Фауст. Ей было приказано вывести меня вон. Однако я уговорил ее сначала показать мне лабораторию покойного доктора Хониккера.

По пути я спросил ее, хорошо ли она знала доктора Хониккера.

Лукаво улыбнувшись, она ответила мне откровенно и очень неожиданно:

— Не думаю, что его вообще можно было узнать. Понимаете, когда люди говорят, что знают кого-то хорошо или знают мало, они обычно имеют в виду всякие тайны, которые им либо поверяли, либо нет. Они подразумевают всякие подробности семейной жизни, интимные дела, любовные истории, — сказала эта милая старушка. — И в жизни доктора Хониккера было все, что бывает у каждого человека, но для него это было не самое

главное.

— А что же было самое главное? — спросил я.

— Доктор Брид постоянно твердит мне, что главным для доктора Хониккера была истина.

— Но вы как будто не согласны с ним?

— Не знаю — согласна или не согласна. Но мне просто трудно понять, как истина сама по себе может заполнить жизнь человека.

Мисс Фауст вполне созрела, чтобы принять учение Боконона.

26. Что есть Бог?

— Вам когда-нибудь приходилось разговаривать с доктором Хониккером? — спросил я мисс Фауст.

— Ну конечно! Я часто с ним говорила.

— А вам особо запомнился какой-нибудь разговор?

— Да, однажды он сказал: он ручается головой, что я не смогу сказать ему какую-нибудь абсолютную истину. А я ему говорю: «Бог есть любовь».

— А он что?

— Он сказал: «Что такое Бог? Что такое любовь?»

— Гм…

— Но знаете, ведь Бог действительно и *есть* любовь, — сказала мисс Фауст, — что бы там ни говорил доктор Хониккер.

27. Люди с Марса

Комната, служившая лабораторией доктору Хониккеру, помещалась на шестом, самом верхнем, этаже здания.

В проеме двери был протянут алый шнур, на стене медная дощечка с надписью, объяснявшей, почему эта комната считается святилищем:

> В ЭТОЙ КОМНАТЕ ДОКТОР ФЕЛИКС ХОНИККЕР, ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ
> ПО ФИЗИКЕ, ПРОВЕЛ ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ ЛЕТ ЖИЗНИ. «ТАМ, ГДЕ БЫЛ ОН, ПРОХОДИЛ ПЕРЕДНИЙ КРАЙ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ». ЗНАЧЕНИЕ ЭТОГО ЧЕЛОВЕКА В ИСТОРИИ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ПОКА ЕЩЕ ОЦЕНИТЬ НЕВОЗМОЖНО.

Мисс Фауст предложила отстегнуть алый шнур, чтобы я мог войти в помещение и ближе соприкоснуться с обитавшими там призраками, если они еще остались.

Я согласился.

— Тут все как при нем, — сказала она, — только на одном из столов валялись резиновые ленты.

— Резиновые ленты?

— Не спрашивайте зачем. И вообще не спрашивайте, зачем все это нужно.

Старик оставил в лаборатории страшнейший беспорядок. Но мое внимание первым делом привлекло множество дешевых игрушек, разбросанных на полу. Бумажный змей со сломанным хребтом. Игрушечный гироскоп, обмотанный веревкой и готовый завертеться. И волчок. И трубка для пускания мыльных пузырей. И аквариум с каменным гротом и двумя черепахами.

— Он любил игрушечные лавки, где все по 10 центов, — сказала мисс Фауст.

— Оно и видно.

— Несколько самых знаменитых своих опытов он проделал с оборудованием, стоившим меньше доллара.

— Грош сбережешь — заработаешь грош. Было тут и немало обычного лабораторного оборудования, но оно казалось скучным рядом с дешевыми яркими игрушками.

На бюро доктора Хониккера лежала груда нераспечатанной корреспонденции.

— По-моему, он никогда не отвечал на пись-

ма, — проговорила мисс Фауст. — Если человек хотел получить от него ответ, ему приходилось звонить по телефону или приходить сюда.

На бюро стояла фотография в рамке. Она была повернута ко мне обратной стороной, и я старался угадать, чей это портрет.

— Жена?

— Нет.

— Кто-нибудь из детей?

— Нет.

— Он сам?

— Нет.

Пришлось взглянуть. Я увидел, что это была фотография скромного памятника военных лет перед зданием суда в каком-то городишке. На мемориальной доске были перечислены имена жителей поселка, погибших на разных войнах, и я решил, что фото сделано ради этого. Имена можно было прочесть, и я уже решил было, что найду там фамилию Хониккера. Но ее там не было.

— Это одно из его увлечений, — сказала мисс Фауст.

— Что именно?

— Фотографировать, как сложены пушечные ядра на разных городских площадях. Очевидно, на этой фотографии они сложены как-то необыч-

но.

— Понимаю.

— Человек он был необычный.

— Согласен.

— Может быть, через миллион лет все будут такие умные, как он, все поймут то, что понимал он. От среднего современного человека он отличался, как отличается житель Марса.

— А может быть, он и вправду был марсианин? — предположил я.

— Если так, то понятно, почему у него все трое детей такие странные.

28. Майонез

Пока мы с мисс Фауст ждали лифта, чтобы спуститься на первый этаж, она сказала: «Только бы не пятый номер».

Не успел я ее спросить почему, как прибыл именно пятый номер.

Лифтером на нем служил престарелый, маленький негр по имени Лаймен Эндерс Ноулз. Ноулз был сумасшедший — это сразу бросалось в глаза, потому что, стоило ему удачно сострить, он хлопал себя по заду и кричал: «Да-с! Да-с!»

— Здорово, братья антропоиды, лилейный носик и нос рулем! — приветствовал он мисс Фауст и меня. — Да-с! Да-с!

— Первый этаж, пожалуйста! — холодно бросила мисс Фауст.

Ноулзу надо было только закрыть двери и нажать кнопку, но именно это он пока что делать не собирался. А может быть, и вообще не собирался.

— Один человек мне говорил, — сказал старик, — что здешние лифты — это архитектура племени майя. А я до сих пор и не знал. Я ему и говорю: кто же я тогда? Майонез? Да-с! Да-с! И

пока он думал, что ответить, я ему как влеплю еще вопросик, а он как подскочит, башка у него как начнет работать! Да-с! Да-с!

— Нельзя ли нам спуститься, мистер Ноулз? — попросила мисс Фауст.

— Я его спрашиваю, — продолжал Ноулз, — тут у нас исследовательская лаборатория? Ис-следовать — значит идти по следу, верно? Значит, они нашли какой-то след, а потом его потеряли, вот им и надо исследовать. Чего же они для такого дела выстроили целый домище с майонезовыми лифтами и набили его всякими психами? Чего они ищут? Какой след исследуют? Кто тут чего потерял? Да-с! Да-с!

— Очень интересно! — вздохнула мисс Фауст. — А теперь можно нам спуститься?

— А мы только спускаться и можем! — крикнул мистер Ноулз. — Тут верх, поняли? Попросите меня подняться, а я скажу — нет, даже для вас — не могу! Да-с! Да-с!

— Так давайте спустимся вниз! — сказала мисс Фауст.

— Погодите, сейчас. Этот джентльмен посетил бывшую лабораторию доктора Хониккера?

— Да, — сказал я. — Вы его знали?

— Как самого себя, — сказал он. — А вы знаете,

что я сказал, когда он умер?

— Нет.

— Я сказал: «Доктор Хониккер не умер».

— Ну?

— Он вышел в другое измерение. Да-с! Да-с! Ноулз нажал кнопку, и мы поехали вниз.

— А детей Хониккера вы знали?

— Ребята — бешеные щенята! — сказал он. — Да-с! Да-с!

29. Ушли, но не забыты

Еще одно мне непременно хотелось сделать в Илиуме. Я хотел сфотографировать могилу старика. Я зашел к себе в номер, увидел, что Сандра ушла, взял фотоаппарат и вызвал такси.

Сыпала изморозь, серая, липкая. Я подумал, что могилка старика, облепленная снегом, хорошо выйдет на фотографии и, пожалуй, даже пригодится для обложки моей книги *День, когда наступил конец света.*

Смотритель кладбища объяснил мне, как найти могилы семьи Хониккеров.

— Сразу увидите, — сказал он, — на них самый высокий памятник на всем кладбище.

Он не соврал. Памятник представлял собой что-то вроде мраморного фаллоса, двадцати футов вышиной и трех футов в диаметре. Он был весь занесен мокрым снегом.

— О, черт! — сказал я, выходя с фотокамерой из машины. — Ничего не скажешь — подходящий памятник отцу атомной бомбы. — Меня разбирал смех.

Я попросил водителя стать рядом с памятни-

ком, чтобы сравнить размеры. И еще попросил его соскрести снег, чтобы видно было имя покойного.

Он так и сделал.

И там, на колонне, шестидюймовыми буквами, ей-богу, стояло одно слово:

МАТЬ

30. Легла ты спать

— Мама? — не веря глазам, спросил водитель. Я еще больше соскреб изморозь, и открылся стишок:

Молю тебя, родная мать,
Нас беречь и охранять.

Анджела Хониккер

А под этим стишком стоял другой:

Не умерла – легла ты спать.
Довольно плакать и рыдать.
И нам не плакать, а смеяться,
Тебе в ответ лишь улыбаться.

Фрэнклин Хониккер

А под стихами в памятник был вделан цементный квадрат с отпечатком младенческой ручки. Под отпечатком стояли слова:

Крошка Ньют

— Ну, ежели это мама, — сказал водитель, — так какую хреновину они поставили на папину могилку? — Он добавил не совсем пристойное предположение насчет того, какой подходящий

памятник следовало бы поставить там.

Могилу отца мы нашли рядом. Там, по его завещанию, как я потом узнал, был поставлен мраморный куб, сорок на сорок сантиметров.

ОТЕЦ –

гласила надпись.

31. Еще один Брид

Когда мы выезжали с кладбища, водитель такси вдруг забеспокоился — в порядке ли могила его матери. Он спросил, не возражаю ли я, если мы сделаем небольшой крюк и взглянем на ее могилку.

Над могилой его матери стояло маленькое жалкое надгробие. Впрочем, особого значения это не имело.

Но водитель спросил, не буду ли я возражать, если мы сделаем еще небольшой крюк, на этот раз он хотел заехать в лавку похоронных принадлежностей, через дорогу от кладбища.

Тогда я еще не был боконистом и потому с неохотой дал согласие.

Конечно, будучи боконистом, я бы с радостью согласился пойти куда угодно по чьей угодно просьбе. «Предложение неожиданных путешествий есть урок танцев, преподанных Богом», — учит нас Боконон.

Похоронное бюро называлось «Авраам Брид и сыновья». Пока водитель разговаривал с хозяином, я бродил среди памятников — еще безы-мян-

ных, до поры до времени, ничьих надгробий. В выставочном помещении я увидел, как развлекались в этом бюро: над мраморным ангелом висел венок из омелы. Подножие статуи было завалено кедровыми ветками, на шее ангела красовалась гирлянда электрических елочных лампочек, придавая памятнику какой-то домашний вид.

— Сколько он стоит? — спросил я продавца.

— Не продается. Ему лет сто. Мой прадедушка, Авраам Брид, высек эту статую.

— Значит, ваше бюро тут давно?

— Очень давно.

— А вы тоже из семьи Бридов?

— Четвертое поколение в этих местах.

— Вы не родственник доктору Эйзе Бриду, директору научно-исследовательской лаборатории?

— Я его брат. — Он представился: — Марвин Брид.

— Как тесен мир, — заметил я.

— Особенно тут, на кладбище. — Марвин Брид был человек гладкий, вульгарный, пронырливый и сентиментальный.

32. Динамитные деньги

— Я только что от вашего брата, — объяснил я Марвину Бриду. — Я — писатель. Я расспрашивал его про доктора Феликса Хониккера.

— Такого чудака поискать, как этот сукин сын. Это я не про брата, про Хониккера.

— Это вы ему продали памятник для его жены?

— Не ему — детям. Он тут ни при чем. Он даже не удосужился поставить камень на ее могилу. А потом, примерно через год после ее смерти, пришли сюда трое хониккеровских ребят — девочка, высоченная такая, мальчик и малыш. Они потребовали самый большой камень за любые деньги, и у старшего были с собой стишки, они хотели их высечь на камне. Хотите — смейтесь над этим памятником, хотите — нет, но для ребят это было таким утешением, какого за деньги не купишь. Вечно они сюда ходили, а цветы носили уж не знаю сколько раз в году.

— Наверно, памятник стоит огромных денег?

— Куплен на Нобелевскую премию. Две вещи были куплены на эти деньги — дача на мысе Код и этот памятник.

— Динамитные деньги, — поразился я, подумав о взрывчатой ярости динамита и совершенном покое памятника и летней дачи.

— Что?

— Нобель ведь изобрел динамит.

— Да, чего только не бывает…

Будь я тогда боконистом и распутывай невероятно запутанную цепь событий, которая привела динамитные деньги именно сюда, в похоронное бюро, я бы непременно прошептал: «Дела, дела, дела…»

Дела, дела, дела, шепчем мы, боконисты, раздумывая о том, как сложна и необъяснима хитрая механика нашей жизни.

Но, будучи еще христианином, я мог только сказать: «Да, смешная штука жизнь».

— А иногда и вовсе не смешная, — сказал Марвин Брид.

33. Неблагодарный человек

Я спросил Марвина Брида, знал ли он Эмили Хониккер, жену Феликса, мать Анджелы, Фрэнка и Ньюта, женщину, похороненную под чудовищным обелиском.

— Знал ли я ее? — В его голосе зазвучали трагические нотки. — Знал ли я ее, мистер? Конечно же, знал. Я хорошо знал Эмили. Вместе учились в илиумской средней школе. Были вице-председателями школьного комитета. Ее отец держал музыкальный магазин. Она умела играть на любом инструменте. А я так в нее втюрился, что забросил футбол, стал учиться играть на скрипке. Но тут приехал домой на весенние каникулы мой старший братец Эйза — он учился в Технологическом институте, — и я оплошал: познакомил его со своей любимой девушкой. — Марвин Брид щелкнул пальцами. — Он ее и отбил, вот так, сразу. Тут я расколошматил свою скрипку — а она была дорогая, семьдесят пять долларов, — прямо об медную шишку на кровати, пошел в цветочный магазин, купил там шикарную коробку — в такой посылают розы дюжинами, — положил ту-

да разбитую скрипку и отослал ее с посыльным.

— Она была хорошенькая?

— Хорошенькая? — повторил он. — Слушайте, мистер, когда я увижу на том свете первого ангела, если только Богу угодно будет меня до этого допустить, так я рот разину не на красоту ангельскую, а только на крылышки за спиной, потому что красоту ангельскую я уже видал. Не было человека во всем Илиуме, который в нее не влюбился бы, кто явно, а кто тайно. Она за любого могла выйти, только бы захотела. — Он сплюнул на пол. — А она возьми и выйди за этого голландца, сукина сына этого! Была невестой моего брата, а тут он явился, ублюдок этот. Отнял ее у брата вот так! — Марвин Брид снова щелкнул пальцами. — Наверно, это измена родине и неблагодарность, и вообще отсталость и серость называть покойника, да еще такого знаменитого человека, как Феликс Хониккер, сукиным сыном. Знаю, все знаю. Считалось, что он такой безобидный, такой мягкий, мечтательный, никогда мухи не обидит, и плевать ему на деньги, на власть, на шикарную одежду, на автомобили и всякое такое, знаю, как он отличался от всех нас, был лучше нас, такой невинный агнец, чуть ли не Иисус Христос, разве что не Сын Божий.

Доводить до конца свою мысль Марвин Брид не собирался, но я попросил его договорить.

— Как же так? — сказал он. — Как же так? — Он отошел к окну, выходившему на кладбищенские ворота. — Как же так? — пробормотал он, глядя на ворота, на снежную слякоть и на хониккеровский обелиск, смутно видневшийся вдалеке.

— Но как же так, — сказал он, — как же можно считать невинным агнцем человека, который помог создать атомную бомбу? И как можно называть добрым человека, который пальцем не пошевельнул, когда самая милая, самая красивая женщина на свете умирала от недостатка любви, от бесчувственного отношения. — Он весь передернулся. — Иногда я думаю, уж не родился ли он мертвецом? Никогда не встречал человека, который настолько не интересовался бы жизнью. Иногда мне кажется: вот в чем вся наша беда — слишком много людей занимают высокие места, а сами трупы трупами.

34. Вин-дит

Именно в этой мастерской надгробий я испытал свой первый *вин-дит. Вин-дит* — слово боконистское, и означает оно, что ты лично испытываешь внезапно толчок по направлению к боконизму, к пониманию того, что Господь Бог все про тебя знает и что у него есть довольно сложные планы, касающиеся именно тебя.

Мой *вин-дит* имел отношение к мраморному ангелу под омеловым венком. Водитель такси вбил себе в голову, что должен во что бы то ни стало поставить эту статую на могилу своей матери. Он стоял перед статуей со слезами на глазах.

Высказавши свое мнение о Феликсе Хониккере, Марвин Брид снова уставился на кладбищенские ворота.

— Может, этот чертов голландец, сукин сын, и был современным святым, — добавил он вдруг, — но черт меня раздери, если он хоть раз в жизни сделал не то, чего ему хотелось, и пропади я пропадом, если он не добивался всего, чего хотел.

— Музыка, — сказал он, помолчав.

— Простите?

— Вот почему она вышла за него замуж. У него, говорит, душа настроена на самую высокую музыку в мире, на музыку звездных сфер. — Он покачал головой. — Чушь!

Потом, взглянув на ворота, он вспомнил, как в последний раз видел Фрэнка Хониккера, строителя моделей, мучителя насекомых в банке.

— Да, Фрэнк, — сказал он.

— А что?

— В последний раз я его, чудака несчастного, видал, когда он, бедняга, выходил из кладбищенских ворот. Похороны еще шли. Отца в могилу опустить не успели, а Фрэнк уже вышел за ворота. Поднял палец, как только первая машина показалась. Новый такой «понтиак» с номером штата Флорида. Машина остановилась. Фрэнк сел в нее, и больше никто в Илиуме в глаза его не видал.

— Я слышал — его полиция ищет.

— Да это случайно, недоразумение. Какой же Фрэнк преступник? У него на это духу не хватит. Он только одно и умел делать — модели всякие. И на одной работе только и держался — у Джека, в лавке «Уголок любителя», он там и продавал всякие игрушечные модели, и сам их делал, и любителей учил, как самим сделать модель. Когда он отсюда уехал во Флориду, он получил место в

мастерской моделей в Сарасате. Оказалось, что эта мастерская служила прикрытием для банды, которая воровала «кадиллаки», грузила их на списанные военные самолеты и переправляла на Кубу. Вот как Фрэнка впутали в эту историю. Думается мне, что полиция его не нашла, потому что его уже нет в живых. Слишком много лишнего он услышал, пока приклеивал синдетиконом трубы на игрушечный крейсер «Миссури».

— А вы не знаете, где теперь Ньют?

— Как будто у сестры, в Индианаполисе. Знаю только, что он спутался с этой русской карлицей и его вышибли с первого курса медицинского факультета в Корнелле. Да разве можно себе представить, чтобы карлик стал доктором? А дочка в этой несчастной семье выросла огромная, нескладная, больше шести футов ростом. И ваш этот знаменитый мудрец не дал девчонке кончить школу, взял ее из последнего класса, чтобы было кому о нем заботиться. Одно у нее было утешение — кларнет, она на нем играла в школьном оркестре «Сто бродячих музыкантов».

— Когда она ушла из школы, — продолжал Брид, — ее никто никуда не приглашал. И подруг у нее не было, а ее отцу и в голову не приходило дать ей денег, ей и пойти было некуда. И знаете,

что она делала?

— Нет.

— Запрется, бывало, вечером у себя в комнате, заведет пластинку и играет в унисон на кларнете. И по моему мнению, самое большое чудо нашего века — это то, что такая девица нашла себе мужа.

— Сколько хотите за этого ангела? — спросил водитель такси.

— Я же вам сказал — не продается.

— Наверное, сейчас уже никто из мастеров такую работу делать не умеет? — сказал я.

— У меня племянник есть, он все умеет, — сказал Брид, — сын Эйзы. Очень шел в гору, мог бы стать большим ученым. А тут сбросили бомбу на Хиросиму, и мальчик сбежал, напился, пришел ко мне, говорит: хочу работать резчиком по камню.

— Он у вас работает?

— Нет, он скульптор в Риме.

— Если бы вам дать хорошую цену, — сказал водитель, — вы бы продали этот памятник?

— Возможно. Но цена-то ему немалая.

— А где тут надо высечь имя? — спросил водитель.

— Да тут имя уже есть, на подножии, — сказал Брид.

Но мы не видели надписи, она была закрыта венками, сложенными у подножия статуи.

— Значит, заказ так и не востребовали? — спросил я.

— За него даже и не *заплатили.* Рассказывают так: этот немец, иммигрант, ехал с женой на запад, а она тут, в Илиуме, умерла от оспы. Он заказал этого ангела для надгробия жене и показал моему прадеду деньги, обещал хорошо заплатить. А потом его ограбили. Вытащили у него все до последнего цента. У него только и осталось имущества что та земля, которую он купил в Индиане за глаза. Он туда и двинулся, обещал, что вернется и заплатит за ангела.

— Но так и не вернулся? — спросил я.

— Нет. — Марвин Брид отодвинул ногой ветки, чтобы мы могли разглядеть надпись на пьедестале. Там была написана только фамилия. — И фамилия какая-то чудная, — сказал он, — наверное, потомки этого иммигранта, если у него были, уже американизировали свою фамилию. Наверное, они давно стали Джонсами, Блейками или Томсонами.

— Ошибаетесь, — пробормотал я.

Мне показалось, что комната опрокинулась и все стены, потолок и пол сразу разверзлись, как

пасти пещер, открывая путь во все стороны, в бездну времен. И мне привиделось, в духе учения Боконона, единство всех странников мира: мужчин, женщин, детей, — единство во времени, в каждой его секунде.

— Ошибаетесь, — сказал я, когда исчезло видение.

— А вы знаете людей с такой фамилией?

— Да.

Там была высечена моя фамилия.

35. «Уголок любителя»

По дороге в гостиницу я увидел мастерскую Джека «Уголок любителя», где раньше работал Фрэнклин Хониккер. Я велел водителю остановиться и подождать меня.

Зайдя в лавку, я увидел самого Джека, хозяина всех этих крошечных паровозов, поездов, аэропланов, пароходов, фонарей, деревьев, танков, ракет, полисменов, пожарных, пап, мам, кошек, собачек, курочек, солдатиков, уток и коровок. Человек этот был мертвенно-бледен, человек этот был суров, неопрятен и очень кашлял.

— Какой он был, Фрэнклин Хониккер? — повторил он мой вопрос и закашлялся долгим-долгим кашлем. Он покачивал головой, и видно было, что он обожает Фрэнка больше всех на свете. — На такой вопрос словами не ответишь. Лучше я вам покажу, что это был за мальчик. — Он снова закашлялся. — Поглядите, и сами поймете.

И он повел меня в подвал при лавке, где он жил. Там стояли двуспальная кровать, шкаф и электрическая плитка. Джек извинился за неубранную постель.

— От меня жена ушла вот уже с неделю. — Он закашлялся. — Все еще никак не приспособлюсь к такой жизни.

И тут он повернул выключатель, и ослепительный свет залил дальний конец подвала.

Мы подошли туда и увидели, что лампа, как солнце, озаряла маленькую сказочную страну, построенную на фанере, на острове, прямоугольном, как все города в Канзасе. И беспокойная душа, любая душа, которая попыталась бы узнать, что лежит за зелеными пределами этой страны, буквально упала бы за край света.

Все детали были так изумительно пропорциональны, так точно выработаны и окрашены, что не надо было даже прищуриваться, чтобы поверить, что это жилье живых людей, все эти холмы, озера, реки, леса, города — все, что так дорого каждому доброму гражданину своего края.

И повсюду тонким узором вилась лапша железнодорожных путей.

— Взгляните на двери домиков, — с благоговением сказал Джек.

— Чисто сделано. Точно.

— У них дверные ручки настоящие, и молоточком можно постучать.

— Бог ты мой!

— Вы спрашивали, что за мальчик был Фрэнклин Хониккер. Это он выстроил. — Джек задохнулся (от кашля).

— Все сам?

— Ну, я тоже помогал, но все делалось по его чертежам. Этот мальчишка — гений.

— Да, ничего не скажешь.

— Братишка у него был карлик, слыхали?

— Слыхал.

— Он снизу кое-что припаивал.

— Да, все как настоящее.

— Не так это легко, да и не за ночь все построили.

— Рим тоже не один день строился.

— У этого мальчика, в сущности, семьи и не было, понимаете?

— Да, мне так говорили.

— Тут был его настоящий дом. Он тут провел тыщу часов, если не больше. Иногда он и не заводил эти поезда, просто сидел и глядел, как мы с вами сейчас.

— Да, тут есть на что поглядеть. Прямо путешествие в Европу, столько тут всякого, если посмотреть поближе.

— Он такое видел, что нам с вами и не заметить. Вдруг сроет какой-нибудь холмик — ну совсем

как настоящий, для нас с вами. И правильно сделает. Устроит озеро на месте холмика, поставит мостик, и все станет раз в десять красивей, чем было.

— Такой талант не всякому дается.

— Правильно! — восторженно крикнул Джек. Но этот порыв ему дорого обошелся: он страшно закашлялся. Когда кашель прошел, слезы все еще лились у него из глаз. — Слушайте, — сказал он, — ведь я говорил мальчику, пусть бы пошел в университет, выучился на инженера, смог бы работать на Американскую летную компанию или еще на какое-нибудь предприятие, покрупнее, — вот где его придумки нашли бы настоящую поддержку.

— По-моему, вы здорово поддерживали его.

— Добро бы так, хотелось бы, чтоб так оно и было, — вздохнул Джек. — Но у меня средств не хватало. Я ему давал материалы, когда мог, но он почти все покупал сам на свои заработки, он работал там, наверху, у меня в лавке. Ни гроша на другое не тратил — никогда не пил, не курил, с девушками не знался, по автомобилям с ума не сходил.

— Побольше бы таких в нашей стране.

Джек пожал плечами:

— Что ж поделаешь… Наверно, бандиты там, во Флориде, его прикончили. Боялись, что он проговорится.

— Да, я тоже так думаю.

Джек вдруг не выдержал и заплакал.

— Наверно, они и представления не имели, сукины дети, — всхлипнул он, — кого они убивают!

36. Мяу

Во время своей поездки в Илиум и за Илиум — она заняла примерно две недели, включая Рождество, — я разрешил неимущему поэту по имени Шерман Кребс бесплатно пожить в моей нью-йоркской квартире. Моя вторая жена бросила меня из-за того, что с таким пессимистом, как я, оптимистке жить невозможно.

Кребс был бородатый малый, белобрысый иисусик с глазами спаниеля. Я с ним близко знаком не был. Встретились мы на коктейле у знакомых, и он представился как председатель Национального комитета поэтов и художников в защиту немедленной ядерной войны. Он попросил убежища, не обязательно — бомбоубежища, и я случайно смог ему помочь.

Когда я вернулся в свою квартиру, все еще взволнованный странным предзнаменованием невостребованного мраморного ангела в Илиуме, я увидел, что в моей квартире эти нигилисты устроили форменный дебош. Кребс выехал, но перед уходом он наговорил по телефону на триста долларов, прожег в пяти местах мой диван,

убил мою кошку, загубил мое любимое деревце и сорвал дверцу с аптечки.

На желтом линолеуме моей кухни он написал чем-то, что оказалось экскрементами, такой стишок:

Кухня что надо,
Но душа не рада
Без
Му-со-ро-про-вода.

И еще одно послание было начертано губной помадой прямо на обоях над моей кроватью. Оно гласило: «Нет и нет, нет, нет, говорит цыпадрипа!»

А на шее убитой кошки висела табличка. На ней стояло: «Мяу!»

Кребса я с тех пор не встречал. И все же я чувствую, что и он входит в мой карасс. А если так, то он служил *ранг-рангом. А ранг-ранг,* по учению Боконона, — это человек, который отваживает других людей от определенного образа мыслей тем, что примером своей собственной *ранг-ранговой* жизни доводит этот образ мыслей до абсурда.

Быть может, я уже отчасти склонен считать, что в предзнаменовании мраморного ангела не

стоит искать смысла, и склонен сделать вывод, что вообще все на свете — бессмыслица. Но когда я увидел, что наделал у меня нигилист Кребс, особенно то, что он сделал с моей ласковой кошкой, всякий нигилизм мне опротивел.

Какие-то силы не пожелали, чтобы я стал нигилистом. И миссия Кребса, знал он это или нет, была в том, чтобы разочаровать меня в этой философии. Молодец, мистер Кребс, молодец.

37. Наш современник – генерал-майор

И вдруг в один прекрасный день, в воскресенье, я узнал, где находился беглец от правосудия, создатель моделей, Великий Вседержитель и Вельзевул жуков в банке, — словом, узнал, где найти Фрэнклина Хониккера.

Он был жив!

Узнал я это из специального приложения к «Нью-Йорк санди таймс». Это была платная реклама некой банановой республики. На обложке вырисовывался профиль самой душераздирающе-прекрасной девушки на свете.

За профилем девушки бульдозеры срезали пальмы, расчищая широкий проспект. В конце проспекта высились стальные каркасы трех новых зданий.

«Республика Сан-Лоренцо процветает! — говорилось в тексте на обложке. — Здоровый, счастливый, прогрессивный, свободолюбивый красавец народ непреодолимо привлекает как американских дельцов, так и туристов».

Но читать весь проспект я не торопился. С меня

было достаточно девушки на обложке — более чем достаточно, потому что я влюбился в нее с первого взгляда. Она была очень юная, очень серьезная и вся светилась пониманием и мудростью.

Кожа у нее была шоколадная. Волосы — золотой лен.

Звали ее, как говорилось на обложке, Мона Эймонс Монзано. Она была приемной дочерью диктатора острова Сан-Лоренцо.

Я открыл проспект, надеясь найти еще фотографии изумительной мадонны-полукровки.

Вместо них я нашел портрет диктатора острова, Мигеля «Папы» Монзано, — гориллы лет под восемьдесят.

Рядом с портретом «Папы» красовалась фотография узкоплечего, остролицего, очень невзрослого юноши. На нем был ослепительно белый военный мундир с чем-то вроде аксельбантов, усыпанных драгоценными камнями. Под близко поставленными глазами виднелись большие синие круги. Очевидно, он всю жизнь требовал, чтобы парикмахеры брили ему затылок и виски и не трогали макушку. И он отрастил себе огромный жесткий кок, что-то вроде невероятно высокого волосяного куба с перманентом.

Подпись под этим малопривлекательным юнцом говорила, что это генерал-майор Фрэнклин Хониккер, министр науки и прогресса республики Сан-Лоренцо.

Ему было двадцать шесть лет.

38. Акулья столица мира

Как я узнал из проспекта, приложенного к нью-йоркской «Санди таймс», остров Сан-Лоренцо имел пятьдесят миль в длину и двадцать — в ширину. Население составляло четыреста пятьдесят тысяч душ, «беззаветно преданных идеалам Свободного мира».

Наивысшей точкой острова была вершина горы Маккэйб — одиннадцать тысяч футов над уровнем моря. Столица острова — город Боливар — являлась «...сугубо современным городом, расположенным у гавани, могущей вместить весь флот Соединенных Штатов. Главный экспорт — сахар, кофе, бананы, индиго и кустарные изделия».

«А спортсмены-рыболовы признали Сан-Лоренцо первой в мире столицей по промыслу акул».

Я не мог понять, каким образом Фрэнклин Хониккер, не окончивший даже средней школы, получил такое шикарное место. Но мое недоумение отчасти рассеялось, когда я прочел очерк о Сан-Лоренцо, подписанный «Папой» Монзано.

«Папа» писал, что Фрэнк является архитек-

тором, создавшим «генеральный план Сан-Лоренцо», включающий новые дороги, сельскую электрификацию, очистительные сооружения, отели, госпитали, клиники, железные дороги — словом, все строительство. И хотя очерк был краток и явно подредактирован, «Папа» пять раз назвал Фрэнка сыном — «кровью от крови» — доктора Феликса Хониккера.

Эта фраза отдавала каким-то людоедством.

Видно, «Папа» хотел сказать, что Фрэнк — плоть от плоти старого колдуна.

39. Фата-моргана

Немного света пролил еще один очерк в проспекте, очень цветистый очерк под названием «Что дал Сан-Лоренцо одному американцу». Написан он был, несомненно, подставным лицом, но автором значился генерал-майор Фрэнклин Хониккер.

В этом очерке Фрэнк рассказывал, как он очутился один на полузатонувшей семидесятифутовой яхте в Карибском море. Как он там очутился и почему оказался в одиночестве, он не объяснил. Он намекнул, однако, что пунктом отправления была Куба.

«Роскошное прогулочное судно гибло, и вместе с ним — моя бессмысленная жизнь, — говорилось в очерке. — За четыре дня я съел только две галеты и одну чайку. Плавники акул-людоедов бороздили теплое море вокруг меня, иглозубые барракуды вспенивали волны.

Я поднял взор к Творцу, готовый принять любую участь, предначертанную им. И моему взору открылась сияющая вершина над облаками. Может быть, это была фата-моргана, жестокий

обман, мираж?»

Я тут же посмотрел в словаре «Фата-Моргана» и узнал, что так действительно называется мираж по имени Морганы Ле Фей, волшебницы, жившей на дне озера. Она прославилась тем, что появлялась в Мессинском проливе, между Калабрией и Сицилией. Короче говоря, фата-моргана — глупый вымысел поэтов.

А то, что Фрэнк увидел со своего тонущего суденышка, была вовсе не жестокая Фата-Моргана, а вершина горы Маккэйб. И ласковые волны вынесли яхту Фрэнка на каменистый берег Сан-Лоренцо, словно сам Всевышний направил его туда.

Фрэнк ступил на берег твердой стопой и спросил, где он находится. В очерке даже не упоминалось, что у этого сукина сына был с собой в карманном термосе осколок *льда-девять.*

Беспаспортного Фрэнка посадили в тюрьму города Боливара. Там его посетил «Папа» Монзано, который пожелал узнать, не кровный ли родственник Фрэнк бессмертного доктора Феликса Хониккера.

«Я подтвердил, что я — его сын, — говорилось в очерке. — И с этой минуты все пути на Сан-Лоренцо были для меня открыты».

40. Обитель надежды и милосердия

Случилось так, *должно было так случиться,* как сказал бы Боконон, что один журнал заказал мне очерк о Сан-Лоренцо. Но очерк касался не «Папы» Монзано и не Фрэнка. Я должен был написать о докторе Джулиане Касле, американском сахарозаводчике-миллионере, который в сорок лет, последовав примеру доктора Альберта Швейцера, основал бесплатный госпиталь в джунглях и посвятил всю жизнь страдальцам другой расы.

Госпиталь Касла назывался «Обитель Надежды и Милосердия в джунглях». Джунгли эти находились на Сан-Лоренцо, среди диких зарослей кофейных деревьев, на северном склоне горы Маккэйб.

Когда я полетел на Сан-Лоренцо, Джулиану Каслу было шестьдесят лет.

Двадцать лет он вел абсолютно бескорыстную жизнь.

Предыдущие, корыстные, годы он был знаком читателям иллюстрированных журнальчиков не меньше, чем Томми Манвиль, Адольф Гитлер, Бе-

нито Муссолини и Барбара Хаттон. Прославился он развратом, пьянством, бешеным вождением машины и уклонением от военной службы. Он обладал невероятным талантом швырять на ветер миллионы, принося этим человечеству одни несчастья.

Он был женат пять раз, но произвел на свет только одного сына.

Этот единственный сын, Филипп Касл, был директором и владельцем отеля, где я собирался остановиться. Отель назывался «Каса Мона», в честь Моны Эймонс Монзано, светловолосой негритянки, изображенной на проспекте, приложенном к «Нью-Йорк санди таймс». «Каса Мона», новый отель, и был одним из трех новых зданий, на фоне которых красовался портрет Моны. И хотя я еще не понимал, что какие-то ласковые волны уже влекут меня к берегу Сан-Лоренцо, я чувствовал, что меня влечет любовь.

Я представлял себе любовь с Моной Эймонс Монзано, и этот мираж, эта Фата-Моргана стала страшной силой в моей бессмысленной жизни. Я вообразил, что она сможет дать мне гораздо больше счастья, чем до сих пор удавалось другим женщинам.

41. Карасс на двоих

На самолете из Майами в Сан-Лоренцо кресла стояли по три в ряд. Случилось так — *должно было так случиться,* — что моими соседями оказались Хорлик Минтон, новый американский посол в республике Сан-Лоренцо, и его жена, Клэр. Оба они были седые, хрупкие и такие ласковые.

Минтон рассказал мне, что он профессиональный дипломат, но титул посла получил впервые. До сих пор, рассказал он, они с женой служили в Боливии, Чили, Японии, Франции, Югославии, Египте, Южно-Африканской Республике, Ливии и Пакистане.

Это была влюбленная пара. Они непрестанно развлекали друг друга, обмениваясь маленькими дарами: видом, на который стоило взглянуть из окна самолета, занятными или поучительными строками из прочитанного, случайными воспоминаниями из прошлого. Они были, как мне кажется, безукоризненным образцом того, что Боконон называет *дюпрасс,* что значит карасс из двух человек.

«Настоящий *дюпрасс,* — учит нас Боконон, —

никто не может нарушить, даже дети, родившиеся от такого союза».

Поэтому я исключаю Минтонов из моего личного *карасса,* из *карасса* Фрэнка, *карасса* Ньютона, *карасса* Анджелы, из *карасса* Лаймена Эндерса Ноулза, из *карасса* Шермана Кребса. *Карасс* Минтонов был аккуратный *карассик,* созданный для двоих.

— Должно быть, вы очень довольны? — сказал я Минтону.

— Чем же это я должен быть доволен?

— Довольны, что достигли ранга посла.

По сочувственному взгляду, которым Минтон обменялся с женой, я понял, что сморозил глупость. Но они снизошли ко мне.

— Да, — вздохнул Минтон, — я очень доволен. — Он бледно улыбнулся. — Я глубоко польщен.

И на каждую тему, которую я затрагивал, реакция была такой же. Мне никак не удавалось расшевелить их хоть немножко.

Например:

— Вы наверное, знаете много языков, — сказал я.

— О да, шесть или семь, на двоих, — сказал Минтон.

— Вам, наверно, это очень приятно?

— Что именно?

— Ну, то, что вы можете разговаривать с таким количеством людей разных национальностей.

— Очень приятно, — сказал Минтон равнодушно.

— Очень приятно, — подтвердила его жена. И они снова занялись толстой рукописью, отпечатанной на машинке и разложенной между ними, на ручке кресла.

— Скажите, пожалуйста, — спросил я немного погодя, — вот вы так много путешествовали, как по-вашему: люди, по существу, везде примерно одинаковы или нет?

— Гм! — сказал Минтон.

— Считаете ли вы, что люди, по существу, везде одинаковы?

Он посмотрел на жену, убедился, что она тоже слышала мой вопрос, и ответил:

— По существу, да, везде одинаковы.

— Угу, — сказал я.

Кстати, Боконон говорит, что люди одного *дюпрасса* всегда умирают через неделю друг после друга. Когда пришел смертный час Минтонов, они умерли в одну и ту же секунду.

42. Велосипеды для Афганистана

В хвосте самолета был небольшой бар, и я отправился туда выпить. И там я встретил еще одного соотечественника-американца, Г. Лоу Кросби из Эванстона, штат Иллинойс, и его супругу Хэзел.

Это были грузные люди, лет за пятьдесят. Голоса у них были громкие, гнусавые. Кросби рассказал мне, что у него был велосипедный завод в Чикаго и что он ничего, кроме черной неблагодарности, от своих служащих не видал. Теперь он решил основать дело в более благодарном Сан-Лоренцо.

— А вы хорошо знаете Сан-Лоренцо? — спросил я.

— До сих пор в глаза не видал, но все, что я о нем слышал, мне нравится, — сказал Лоу Кросби. — У них там дисциплина. У них там есть какая-то устойчивость, на нее можно рассчитывать из года в год. Ихнее правительство не подстрекает каждого стать эдаким оригиналом-писсантом, каких еще свет не видал.

— Как?

— Да там, в Чикаго, черт их дери, никто не

занимается обыкновенным производством велосипедов. Там теперь главное — человеческие взаимоотношения. Эти болваны только и ломают себе головы, как бы сделать всех людей счастливыми. Выгнать никого нельзя ни в коем случае, а если кто случайно и сделает велосипед, так профсоюз сразу тебя обвинит в жестокости, в бесчеловечности и правительство тут же конфискует этот велосипед за неуплату налогов и отправит в Афганистан какому-нибудь слепцу.

— И вы считаете, что в Сан-Лоренцо будет лучше?

— Не считаю, а знаю, будь я проклят. Народ там такой тихий, такой пуганый и такой невежественный, что у них еще ум за разум не зашел.

Кросби спросил меня, как моя фамилия и чем я занимаюсь. Я назвал себя, и его жена Хэзел сразу определила по фамилии, что я из Индианы. Она тоже была родом из Индианы.

— Господи Боже, — сказала она, — да вы из *хужеров*[4]?

Я подтвердил, что да.

— Я тоже из *хужеров*, — завопила она. — Нельзя стыдиться, что ты *хужер*!

---

[4] Сноски: 4
Прозвище жителей Индианы.

— А я и не стыжусь, — сказал я, — и не знаю, кто этого может стыдиться.

— Хужеры — молодцы. Мы с Лоу дважды объехали вокруг света, и всюду, куда ни кинь, наши хужеры всем командуют.

— Отрадно слышать.

— Знаете управляющего новым отелем в Стамбуле?

— Нет.

— Он тоже хужер. А военный, ну, как его там, в Токио…

— Атташе, — подсказал ее муж.

— И он — хужер, — сказала Хэзел. — И новый посол в Югославии…

— Тоже хужер?

— И не только он, но и голливудский сотрудник «Лайфа». И тот самый, в Чили…

— И он хужер?

— Куда ни глянь — всюду хужеры в почете, — сказала она.

— Автор «Бен-Гура» тоже был из хужеров.

— И Джеймс Уиткомб Райли.

— И вы тоже из Индианы? — спросил я ее мужа.

— Не-ее… Я из Штата Прерий. «Земля Линколь-

на», как говорится.[5]

— И если уж на то пошло, — важно заявила Хэзел, — Линкольн тоже был из хужеров. Он вырос в округе Спенсер.

— Правильно, — сказал я.

— Не знаю, что в них есть, в хужерах, — сказала Хэзел, — но что-то в них, безусловно, есть. Взялся бы кто-нибудь составить список, так весь мир ахнул бы.

— Тоже правда, — сказал я.

Она крепко вцепилась в мою руку:

— Нам, хужерам, надо держаться друг дружки.

— Верно.

— Ты зови меня «мамуля».

— Что-оо?

— Я, как встречу молодого хужера, сразу прошу его: «Зови меня мамуля».

— Угу…

— Ну, скажи же! — настаивала она.

— Мамуля…

Она улыбнулась и выпустила мою руку. Стрелка обошла круг. Когда я назвал Хэзел мамулей, механизм остановился, и теперь Хэзел снова ста-

---

[5] Сноски: 5

Имеется в виду штат Иллинойс, в административном центре которого, городе Спрингфилде, долгое время жил и похоронен президент Линкольн.

ла его накручивать для встречи со следующим хужером.

То, что Хэзел, как одержимая, искала хужеров по всему свету, — классический пример ложного *карасса,* кажущегося единства какой-то группы людей, бессмысленного по самой сути, с точки зрения Божьего промысла, классический пример того, что Боконон назвал *гранфаллон.* Другие примеры *гранфаллона* — коммунистическая партия, к примеру, Дочери американской Революции, Всеобщая электрическая компания и Международный орден лишних людей — и любая нация, в любом месте, в любое время.

И Боконон приглашает нас спеть вместе с ним так:

Что такое гранфаллон?
Поди-ка разбери:
С шарика воздушного
Шкурку обдери –
Гранфаллон и будет то,
что у него внутри!

43. Демонстратор

Лоу Кросби считал, что диктаторское правительство — зачастую очень неплохая система. Сам он вовсе не был скверным человеком, не был он и дураком. Ему были свойственны грубоватые, мужицкие повадки в отношениях с людьми, но многое из того, что он высказывает насчет недисциплинированного человечества, было не только забавно, но и правдиво.

Однако в одном важном пункте его покидал и здравый смысл, и чувство юмора — это когда он касался вопроса, для чего, в сущности, люди живут на Земле.

Он был твердо уверен, что живут они для того, чтобы делать для него велосипеды.

— Надеюсь, что в Сан-Лоренцо будет ничуть не хуже, чем рассказывали, — сказал я.

— А мне достаточно поговорить только с одним человеком, и я сразу узнаю, так это или не так. Если «Папа» Монзано у себя на острове дает честное слово в чем бы то ни было, значит, так оно и есть. И так оно и будет.

— А мне особенно нравится, — сказала Хэзел, —

что все они говорят по-английски и все они христиане. Это настолько упрощает все.

— Знаете, как они там борются с преступностью? — спросил меня Кросби.

— Нет.

— У них там вообще нет преступников. «Папа» Монзано сумел всякое преступление сделать таким отвратительным, что человека тошнит при одной мысли о нарушении закона. Я слышал, что там можно положить бумажник посреди улицы, вернуться через неделю — и бумажник будет лежать на месте нетронутый.

— Ого!

— А знаете, как наказывают за кражу?

— Нет.

— Крюком, — сказал он. — Никаких штрафов, никаких условных осуждений, никакой тюрьмы на один месяц. За все — крюк. Крюк за кражу, крюк за убийство, за поджог, за измену родине, за насилие, за непристойное подглядывание. Нарушишь закон — любой ихний закон, — и тебя ждет крюк. И дураку понятно, почему Сан-Лоренцо — самая добропорядочная страна на свете.

— А что это за крюк?

— Ставят виселицу, понятно? Два столба с перекладиной. Потом берут громадный железный

крюк вроде рыболовного и спускают с перекладины. Потом берут того, у кого хватило глупости преступить закон, и втыкают крюк ему в живот с одной стороны так, чтобы вышел с другой, — и все! Он и висит там, проклятый нарушитель, черт его дери!

— Боже правый!

— Я же не говорю, что это хорошо, — сказал Кросби, — но нельзя сказать, что это плохо. Я и то иногда подумываю: а не уничтожило бы и у нас что-нибудь вроде этого преступность среди несовершеннолетних… Правда, для нашей демократии такой крюк что-то чересчур. Публичная казнь — дело более подходящее. Повесить бы парочку малолетних преступников из тех, кто крадут автомашины, на фонарь перед их домом с табличкой на шее: «Мамочка, вот твой сынок!» Разика два проделать это, и противоугонные устройства отойдут в область предания.

— Мы эту штуку видели в музее восковых фигур в Лондоне, — сказала Хэзел.

— Какую штуку? — спросил я.

— Крюк. Внизу, в Комнате ужасов, восковой человек висел на крюке. До того похож на живого, что меня чуть не стошнило.

— Гарри Трумэн там совсем не похож на Гарри

Трумэна, — сказал Кросби.

— Простите?

— В музее восковых фигур, — сказал Кросби, — фигура Трумэна совсем на него не похожа.

— А другие почти все похожи, — сказала Хэзел.

— А на крюке висел кто-нибудь определенный? — спросил я ее.

— По-моему, нет, просто какой-то человек.

— Просто демонстратор? — спросил я.

— Ага. Все было задернуто черным бархатным занавесом, отдернешь — тогда все видно. На занавесе висело объявление — детям смотреть воспрещалось.

— И все равно они смотрели, — сказал Кросби. — Пришло много ребят, и все смотрели.

— Что им объявление, ребятам, — сказала Хэзел. — Им начхать.

— А как дети реагировали, когда увидели, что на крюке висит человек? — спросил я.

— Как? — сказала Хэзел. — Так же, как и взрослые. Подойдут, посмотрят, ничего не скажут и пойдут смотреть дальше.

— А что там было дальше?

— Железное кресло, где живьем зажарили человека, — сказал Кросби. — Его за то зажарили, что он убил сына.

— Но после того, как его зажарили, — беззаботно сказала Хэзел, — выяснилось, что сына убил вовсе не он.

44. Сочувствующий коммунистам

Когда я вернулся на свое место, к *дюпрассу* Клэр и Хорлика Минтонов, я уже знал о них кое-какие подробности. Меня информировало семейство Кросби.

Кросби не знали Минтона, но знали о его репутации. Они были возмущены его назначением в посольство Сан-Лоренцо. Они рассказали мне, что Минтон когда-то был уволен госдепартаментом за снисходительное отношение к коммунизму, но прихвостни коммунистов, а может быть, и кое-кто похуже, восстановили его на службе.

— Очень приятный бар там, в хвосте, — сказал я Минтону, усаживаясь рядом с ним.

— Гм? — Они с женой все еще читали толстую рукопись, лежавшую между ними.

— Славный там бар.

— Прекрасно. Очень рад.

Оба продолжали читать, разговаривать со мной им явно было неинтересно. И вдруг Минтон обернулся ко мне с кисло-сладкой улыбкой и спросил:

— А кто он, в сущности, такой?

— Вы про кого?

— Про того господина, с которым вы беседовали в баре. Мы хотели пройти туда, выпить чего-нибудь, и у самой двери услыхали ваш разговор.

Он говорил очень громко, этот господин. Он сказал, что я сочувствую коммунистам.

— Фабрикант велосипедов, Лоу Кросби, — сказал я и почувствовал, что краснею.

— Меня уволили за пессимизм. Коммунизм тут ни при чем.

— Его выгнали из-за меня, — сказала его жена. — Единственной весомой уликой было письмо, которое я написала в «Нью-Йорк таймс» из Пакистана.

— О чем же вы писали?

— О многом, — сказала она, — потому что я была ужасно расстроена тем, что американцы не могут себе представить, как это можно быть не-американцами, да еще быть неамериканцем и гордиться этим.

— Понятно.

— Но там была одна фраза, которую они непрестанно повторяли во время проверки моей лояльности, — вздохнул Минтон. — «Американцы, — процитировал он из письма жены в

«Нью-Йорк таймс», — без конца ищут любви к себе в таких местах, где ее быть не может, и в таких формах, какие она никогда не может принять. Должно быть, корни этого явления надо искать в истории завоевания Дикого Запада».

45. За что ненавидят американцев

Письмо Клэр Минтон было напечатано в худшие времена деятельности сенатора Маккарти, и ее мужа уволили через двенадцать часов после появления письма в газете.

— Но что же такого страшного было в письме? — спросил я.

— Высшая форма государственной измены, — сказал Минтон, — это утверждение, что американцев вовсе не обязательно обожают всюду, где бы они ни появились, что бы ни делали. Клэр пыталась доказать, что, проводя свою внешнюю политику, американцы скорее должны исходить из реально существующей ненависти к ним, а не из несуществующей любви.

— Кажется, американцев во многих местах и вправду ненавидят.

— Во многих местах людей ненавидят. В своем письме Клэр только указала, что и американцев, как любых других людей, тоже могут ненавидеть, и глупо считать, что они почему-то должны быть исключением. Но комитет по проверке лояльно-

сти никакого внимания на это не обратил. Они только одно и увидели, что мы с Клэр почувствовали, что американцев не любят.

— Что ж, я рад, что все кончилось хорошо.

— Хм-м? — хмыкнул Минтон.

— Ведь все в конце концов обошлось, — сказал я, — и вы сейчас направляетесь в посольство, где будете сами себе хозяевами.

Минтон с женой обменялись обычным своим *дюпрассовским* взглядом, полным сожаления ко мне. Потом Минтон сказал:

— Да. По радуге пойдем — горшок золота найдем.

46. Как Боконон учит обращаться с Кесарем

Я заговорил с Минтонами о правовом положении Фрэнклина Хоникке́ра: в конце концов, он был не только важной шишкой в правительстве «Папы» Монзано, но и скрывался от правительства США.

— Все зачеркнуто, — сказал Минтон. — Он больше не гражданин США и на своем теперешнем месте делает много полезного, так что все в порядке.

— Он отказался от американского гражданства?

— Каждый, кто объявляет себя приверженцем чужого правительства, или служит в его вооруженных силах, или занимает там государственную должность, теряет свое гражданство. Прочтите ваш паспорт. Нельзя человеку превратить свою биографию в бульварный романчик из иностранной жизни, как сделал Фрэнк, и по-прежнему прятаться под крылышко дяди Сэма.

— А в Сан-Лоренцо к нему хорошо относятся? Минтон взвесил в руке толстую рукопись, кото-

рую они читали с женой.

— Пока не знаю. По этой книге, как будто нет.

— Что это за книга?

— Это единственный научный труд, написанный о Сан-Лоренцо.

– *Почти* научный, — сказала Клэр.

— Почти научный, — повторил Минтон. — Он пока еще не опубликован. Это один из пяти существующих экземпляров. — Он передал рукопись мне и сказал, чтобы я ее посмотрел.

Я открыл книгу на титульном листе и увидел, что называется она САН-ЛОРЕНЦО. *География. История. Народонаселение.* Автором книги был Филипп Касл, хозяин отеля, сын Джулиана Касла, того великого альтруиста, к которому я направлялся.

Я открыл книгу наугад. И она случайно открылась на главе о человеке, объявленном на острове вне закона, — о святом Бококоне.

На открывшейся странице была цитата из *Книг Бококона.* Слова бросились в глаза, запали в душу и оказались мне очень по душе. Это была парафраза евангельских слов: «Воздай Кесарю кесарево».

По Бококону, эти слова читались так:

«Не обращай внимания на Кесаря. Кесарь не

имеет ни малейшего понятия о том, что *на самом деле* творится вокруг».

47. Динамическое напряжение

Я так увлекся книгой Джулиана Касла, что даже не поднял глаз, когда мы на десять минут приземлились в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико. Я даже не поднял глаз, когда кто-то за моей спиной взволнованно шепнул, что в самолет сел лилипут.

Немного погодя я оглянулся, ища лилипута, но его не было видно. Только прямо перед супругами Кросби сидела, как видно, новая пассажирка — женщина с лошадиным лицом и обесцвеченными волосами. Рядом с ней кресло казалось пустым, и в этом кресле, конечно, мог скрываться лилипут — оттуда и макушки видно не было.

Но меня заинтересовал Сан-Лоренцо, его земля, его история, его народ, так что я особенно и не стал искать лилипута. В конце концов, лилипуты могут развлечь человека в пустые или спокойные минуты, а я был всерьез взволнован теорией Боконона, которую он называл *динамическое напряжение;* интересно, как он понимал совершенное равновесие между добром и злом.

Когда я впервые увидел термин «динамическое

напряжение», я засмеялся, так сказать, высокомерным смехом. Судя по книге молодого Касла, это был любимый термин Боконона, и я подумал, что знаю то, чего Боконон не знает: термин этот был давно опошлен Чарлзом Атласом, автором заочного курса «Как развить мускулатуру?».

Но, бегло перелистывая книгу, я узнал, что Боконон точно знал, кто такой Чарлз Атлас. Боконон, оказывается, сам занимался культуризмом — качал мускулатуру.

Чарлз Атлас был убежден, что мускулатуру можно развить без гирь и пружин, простым противопоставлением одной группы мышц другой.

Боконон был убежден, что здоровое общество можно построить, только противопоставив добро злу и поддерживая высокое напряжение между тем и другим.

И в книге Касла я прочел впервые стих, или калипсо, Боконона. Он звучал так:

«Папа» Монзано, он полон скверны,

Но без «Папиной» скверны я пропал бы, наверно,

Потому что теперь по сравнению с ним

Гадкий старый Боконон считается свя-

тым.

48. Совсем как святой Августин

Как я узнал из книги Касла, Боконон родился в 1891 году. Он был негр, епископального вероисповедания, британский подданный с острова Тобаго.

При крещении ему дали имя Лайонел Бойд Джонсон. Он был младший из шести детей в состоятельной семье. Богатство его семьи началось с того, что дед Боконона нашел спрятанное пиратами сокровище, стоившее четверть миллиона долларов. Сокровище, как предполагали, принадлежало Черной Бороде — Эдварду Тичу.

Семья Боконона вложила сокровище Черной Бороды в асфальт, копру, какао, скот и птицу.

Юный Лайонел Бойд Джонсон учился в епископальной школе, окончил ее прекрасно и больше, чем другие, интересовался церковной службой. Но в молодости, несмотря на любовь ко всяким церемониям, он был порядочным гулякой, потому что в четырнадцатом калипсо он приглашает нас петь вместе с ним так:

Когда я молод был,
Я был совсем шальной,

Я пил и девушек любил,
Как Августин святой.
Но Августин лишь к старости
Причислен был к святым,
Так, значит, к старости могу
И я сравниться с ним.
И если мне в святые
Придется угодить,
Уж ты, мамуля, в обморок
Гляди не упади!

49. Рыбка, выброшенная злым прибоем

К 1911 году интеллектуальные притязания Лайонела Бонда Джонсона настолько возросли, что он решился отправиться один на шхуне под названием «Туфелька» из Тобаго в Лондон. Он поставил себе целью получить высшее образование.

Он поступил в Лондонский институт экономики и политических наук.

Его занятия были прерваны Первой мировой войной. Он пошел в пехоту, отлично воевал, был произведен в офицеры, четыре раза отмечен в рапортах. Во второй битве на Ипре он был отравлен газами, два года провел в госпитале и потом был уволен с военной службы.

И снова в одиночестве он поплыл в Тобаго на своей «Туфельке».

В восьмидесяти милях от дома его остановила и обыскала немецкая подлодка У-99. Он был взят в плен, а его суденышко немцы использовали как мишень для учебной стрельбы. Но перед погружением подлодку обнаружил и захватил

английский эсминец «Ворон».

Джонсон вместе с немецкой командой были взяты на борт эсминца, а лодка У-99 потоплена.

«Ворон» направлялся в Средиземное море, но так и не дошел туда. Корабль потерял управление и только беспомощно болтался на волнах или описывал огромные круги по часовой стрелке. Наконец его прибило к Островам Зеленого Мыса.

Джонсон прожил на этих островах восемь месяцев, ожидая какой-нибудь возможности попасть в Западное полушарие.

Наконец он поступил матросом на рыболовецкое судно, которое занималось контрабандной перевозкой иммигрантов в Нью-Бедфорд, штат Массачусетс. Судно потерпело крушение возле Ньюпорта на Род-Айленде.

К этому времени у Джонсона сложилось убеждение, будто что-то гонит его куда-то, по какой-то причине. Поэтому он на некоторое время остался в Ньюпорте — ему хотелось узнать, не нашел ли он тут свою судьбу. Он работал садовником и плотником в знаменитом имении Рэмфордов.

За это время он успел насмотреться на многих высоких гостей семейства Рэмфордов, среди которых были Дж. КП.КМорган, генерал Дж. Першинг, Франклин Делано Рузвельт, Энрико Карузо, Уор-

рен Гамалиель Гардинг и Гарри Гудини. За это время окончилась Первая мировая война, убившая десять миллионов и ранившая двадцать, среди них и самого Джонсона.

Когда война окончилась, молодой гуляка, наследник Рэмфордов, Ремингтон Рэмфорд Четвертый, решил совершить путешествие на своей яхте «Шехерезада» вокруг света с заходом в Испанию, Францию, Италию, Грецию, Египет, Индию, Китай и Японию. Он пригласил Джонсона плыть с ним первым помощником капитана, и Джонсон согласился.

Много чудес повидал Джонсон во время этого плавания.

Но «Шехерезада» налетела на рифы в тумане у входа в бомбейскую гавань, и из всего экипажа спасся один Джонсон. Он прожил в Индии два года и стал там приверженцем Махатмы Ганди. Его арестовали за то, что он возглавил группу демонстрантов, протестовавших против господства англичан: они ложились на рельсы и останавливали поезда. Когда Джонсона выпустили из тюрьмы, его на казенный счет отправили домой, в Тобаго.

Там он построил вторую шхуну, назвав ее «Туфелька II».

В 1922 году он укрылся от урагана в Порт-о-Пренсе на Гаити, оккупированном тогда американской морской пехотой.

Там к нему обратился человек блестящих способностей, самоучка, идеалист, дезертир из морской пехоты, по имени Эрл Маккэйб. Маккэйб имел чин капрала. Он только что украл отпускные деньги своей роты. Он предложил Джонсону пятьсот долларов, чтобы тот переправил его в Майами.

И они пустились в плавание к Майами.

Но шквал разбил шхуну о скалы острова Сан-Лоренцо. Суденышко пошло ко дну. Джонсон и Маккэйб, в чем мать родила, еле доплыли до берега. Сам Боконон описывает это приключение так:

Как рыбку, выбросил меня
На берег злой прибой,
Но вскоре я очнулся
И стал самим собой.

Он был восхищен этим тайным знамением — тем, что попал голым на незнакомый берег. И он решил не искушать судьбу — пусть будет, что будет, пусть все идет само собой, а он посмотрит, что еще может приключиться с голым человеком,

выплеснутым на берег соленой волной.

И для него наступило второе рождение:

Будьте как дети,
Нам Библия твердит,
И я душой ребенок,
Хотя и стар на вид.

А прозвище «Боконон» он получил очень просто. Так произносили его имя — Джонсон — на островном диалекте английского языка.

Что же касается этого диалекта…

Диалект острова Сан-Лоренцо очень легко понять, но очень трудно записать. Я сказал — легко понять, но это относится лично ко мне. Другим кажется, что этот диалект непонятен, как язык басков, так что, быть может, я понимаю его телепатически.

Филипп Касл в своей книге дает фонетический образец этого диалекта и делает это отлично. Он выбрал для этого сан-лоренцскую версию детской песенки «Шалтай-Болтай».

По-настоящему это бессмертное произведение звучит так:

Шалтай-Болтай сидел на стене,
Шалтай-Болтай свалился во сне,

И вся королевская конница,

И вся королевская рать

Не может Шалтая, не может Болтая собрать.[6]

На сан-лоренцском диалекте, по утверждению Касла, эти строки звучат так:

Саратая-Боротая сидера на сатене,

Саратая-Боротая сварирася во сене,

И кося короревская конниса,

И кося короревская рати

Не могозет Саратая, не могозет Боротая соборати.

Вскоре после того, как Джонсон стал Бококоном, спасательную шлюпку с его шхуны выбросило на берег. Впоследствии эту шлюпку позолотили и сделали из нее кровать для самого главного правителя острова.

«Бококон сочинил легенду, — пишет Филипп Касл, — что золотая шлюпка снова пустится в плавание, когда настанет конец света».

---

[6] Сноски: 6
Перевод С. Маршака.

50. Славный карлик

Чтение биографии Боконона прервала жена Лоу Кросби, Хэзел. Она остановилась в проходе около меня.

— Вы не поверите, — сказала она, — но я только что обнаружила у нас в самолете еще двух хужеров.

— Вот это да!

— Они не природные хужеры, но теперь они там живут. Они живут в Индианаполисе.

— Интересно!

— Хотите с ними познакомиться?

— А по-вашему, это необходимо?

Вопрос ее удивил.

— Но они же из хужеров, как и вы!

— А как их фамилии?

— Фамилия женщины — Коннерс, а его фамилия — Хониккер. Они брат и сестра, и он карлик. И очень славный карлик. — Она подмигнула мне: — Хитрая бестия этот малыш.

— А он уже зовет вас мамулей?

— Я чуть было не попросила его звать меня так. А потом раздумала — не знаю, может, это будет

невежливо, он же карлик.

— Глупости!

51. О’кей, мамуля!

И я пошел в хвост самолета — знакомиться с Анджелой Хониккер Коннерс и с Ньютоном Хониккером, членами моего *карасса.*

Анджела и была та обесцвеченная блондинка с лошадиной физиономией, которую я заметил раньше.

Ньют был чрезвычайно миниатюрный молодой человек, но в нем не было ничего странного. Очень складный, он казался Гулливером среди бробдингнегов и, как видно, был столь же наблюдателен и умен.

В руках у него был бокал шампанского, это входило в стоимость билета. Бокал был для него как небольшой аквариум для нормального человека, но он пил из него с элегантной непринужденностью, будто бокал был сделан специально для него.

И у этого маленького негодяя в чемодане находился термос с кристаллом *льда-девять,* как и у его некрасивой сестры, а под ними — вода, Божье творение — все Карибское море.

Хэзел с удовольствием перезнакомила всех

хужеров и, удовлетворенная, оставила нас.

— Но помните, — сказала она, уходя, — теперь зовите меня мамуля.

— О'кей, мамуля!

— О'кей, мамуля! — повторил Ньютон. Голосок у него был довольно тонкий, как и полагалось при таком маленьком горлышке. Но он как-то ухитрялся придать этому голоску вполне мужественное звучание.

Анджела упорно обращалась с Ньютоном как с младенцем, и он ей это милостиво прощал; я и представить себе не мог, что такое маленькое существо может держаться с таким непринужденным изяществом.

И Ньют и Анджела вспомнили меня, вспомнили мои письма и предложили пересесть к ним, на пустовавшее третье кресло.

Анджела извинилась, что не ответила мне.

— Я не могла вспомнить ничего такого, что было бы интересно прочесть в книжке. Конечно, можно было бы что-то придумать про тот день, но я решила, что вам это не нужно. Вообще же день был как день — самый обыкновенный.

— А ваш брат написал мне отличное письмо.

Анджела удивилась:

— Ньют написал письмо? Как же Ньют мог

что-либо вспомнить? — Она обернулась к нему: — Душка, но ведь ты ничего не помнишь про тот день, правда? Ты был тогда совсем крошкой.

— Нет, помню, — мягко возразил он.

— Жаль, что я не видела этого письма. — Она сказала это таким тоном, будто считала, что Ньют все еще был недостаточно взрослым, чтобы непосредственно общаться с внешним миром. По своей проклятой тупости Анджела не могла понять, что значит для Ньюта его маленький рост.

— Душка, ты должен был показать мне письмо, — упрекнула она брата.

— Прости, — сказал Ньют, — я как-то не подумал.

— Должна вам откровенно признаться, — сказала мне Анджела, — что доктор Брид не велел мне помогать вам в вашей работе. Он сказал, что вы вовсе не намерены дать верный портрет нашего отца.

По выражению ее лица я понял, что она мной недовольна.

Я успокоил ее как мог, сказав, что, по всей вероятности, книжка все равно никогда не будет написана и что у меня нет ясного представления, о чем там надо и о чем не надо писать.

— Но если вы когда-нибудь все же напишете

эту книгу, вы должны написать, что наш отец был святой, потому что это правда.

Я обещал, что постараюсь нарисовать именно такой образ. Я спросил, летят ли они с Ньютом на семейную встречу с Фрэнком в Сан-Лоренцо.

— Фрэнк собирается жениться, — сказала Анджела. — Мы едем праздновать его обручение.

— Вот как? А кто же эта счастливая особа?

— Сейчас покажу, — сказала Анджела и достала из сумочки что-то вроде складной гармошки из плексигласа. В каждой складке гармошки помещалась фотография. Анджела полистала фотографии, и я мельком увидал малютку Ньюта на пляже мыса Код, доктора Феликса Хониккера, получающего Нобелевскую премию, некрасивых девочек-близнецов, дочек Анджелы, и, наконец, Фрэнка, пускающего игрушечный самолет на веревочке.

И тут она показала мне фото девушки, на которой собирался жениться Фрэнк. С таким же успехом она могла бы ударить меня ногой в пах.

На фотографии красовалась Мона Эймонс Монзано — женщина, которую я любил.

52. Совсем безболезненно

Развернув свою плексигласовую гармошку, Анджела не собиралась ее складывать, пока не покажет все фотографии до единой.

— Тут все, кого я люблю, — заявила она.

Пришлось мне смотреть на тех, кого она любит. И все, кого она поймала под плексиглас, поймала, как окаменелых жучков в янтарь, все они были по большей части из нашего *карасса.* Ни единого *гранфаллонца* среди них не было.

Многие фотографии изображали доктора Феликса Хониккера, отца атомной бомбы, отца троих детей, отца *льда-девять.* Предполагаемый производитель великанши и карлика был совсем маленького роста.

Из всей коллекции Анджелиных окаменелостей мне больше всего понравилась та фотография, где он был весь закутан — в зимнем пальто, в шарфе, галошах и вязаной шерстяной шапке с огромным помпоном на макушке.

Эта фотография, дрогнувшим голосом объяснила мне Анджела, была сделана в Хайяннисе за три часа до смерти старика.

Фотокорреспондент какой-то газеты узнал в похожем на рождественского деда старике знаменитого ученого.

— Ваш отец умер в больнице?

— Нет! Что вы! Он умер у нас на даче, в огромном белом плетеном кресле, на берегу моря. Ньют и Фрэнк пошли гулять по снегу у берега…

— Снег был какой-то теплый, — сказал Ньют, — казалось, что идешь по флердоранжу. Удивительно странный снег. В других коттеджах никого не было…

— Один наш коттедж отапливался, — сказала Анджела.

— На мили вокруг — ни души, — задумчиво вспоминал Ньют, — и нам с Фрэнком на берегу повстречалась огромная черная охотничья собака, ретривер. Мы швыряли палки в океан, а она их приносила.

— А я пошла в деревню купить лампочек для елки. Мы всегда устраивали елку.

— Ваш отец любил, когда зажигали елку?

— Он никогда нам этого не говорил.

— По-моему, любил, — сказала Анджела. — Просто он редко выражал свои чувства. Бывают такие люди.

— Бывают и другие, — сказал Ньют, пожав

плечами.

— Словом, когда мы вернулись домой, мы нашли его в кресле, — сказала Анджела. Она покачала головой: — Думаю, что он не страдал. Казалось, он спит. У него было бы другое лицо, если б он испытывал хоть малейшую боль.

Но она умолчала о самом интересном из всей этой истории. Она умолчала о том, что тогда же, в сочельник, она, Фрэнк и крошка Ньют разделили между собой отцовский *лед-девят*ъ.

53. Президент «Фабри-Тека»

Анджела настояла, чтобы я досмотрел фотографии до конца.

— Вот я, хотя сейчас трудно этому поверить, — сказала Анджела. Она показала мне девочку-школьницу, шести футов ростом, в форме оркестрантки средней школы города Илиума, с кларнетом в руках. Волосы у нее были подобраны под шапочку оркестранта. Лицо светилось застенчивой и радостной улыбкой.

А потом Анджела — женщина, которую творец лишил всего, чем можно привлечь мужчину, — показала мне фото своего мужа.

— Так вот он какой, Гаррисон С.ККоннерс.

Я был потрясен. Муж Анджелы был поразительно красивый мужчина и явно сознавал это. Он был очень элегантен, и ленивый блеск в его глазах выдавал донжуана.

— Что… Чем он занимается? — спросил я.

— Он президент «Фабри-Тека».

— Электроника?

— Этого я вам не могу сказать, даже если бы знала. Это сверхсекретная государственная служба.

— Вооружение?

— Ну, во всяком случае, военные дела.

— Как вы с ним познакомились?

— Он работал ассистентом в лаборатории у отца, а потом уехал в Индианаполис и организовал «Фабри-Тек».

— Значит, ваш брак был счастливым завершением долгого романа?

— Нет, я даже не знала, замечает ли он, что я существую. Мне он казался очень приятным, но он никогда не обращал на меня внимания, до самой смерти отца. Однажды он заехал в Илиум. Я жила в нашем громадном старом доме, считая, что жизнь моя кончилась…

Дальше Анджела рассказала мне о страшных днях и неделях после смерти отца:

— Мы были одни, я и маленький Ньют, в этом огромном старом доме. Фрэнк исчез, и привидения шумели и гремели в десять раз громче, чем мы с Ньютом. Я не пожалела бы жизни, лишь бы снова заботиться об отце, возить его на работу и с работы, кутать, когда холодно, и раскутывать, когда теплело, заставлять его есть, платить по его счетам. Вдруг я оказалась без дела. Близких друзей у меня никогда не было. И рядом ни одной живой души, кроме Ньюта.

И вдруг, — продолжала она, — раздался стук в дверь, и появился Гаррисон Коннерс. Никого прекраснее я в жизни не видала. Он зашел, мы поговорили о последних часах жизни отца и вообще о старых временах…

Анджела с трудом сдерживала слезы.

— Через две недели мы поженились.

54. Нацисты, монархисты, парашютисты и дезертиры

Я вернулся на свое место, чувствуя себя довольно погано оттого, что Фрэнк отбил у меня Мону Эймонс Монзано, и стал дочитывать рукопись Филиппа Касла.

В именном указателе я посмотрел *Монзано, Мона Эймонс,* но там было сказано: см. *Эймонс Мона* — и я увидал, что ссылок на страницы там почти столько же, сколько после имени самого «Папы» Монзано.

За Эймонс Моной шел Эймонс Нестор. И я сначала посмотрел те несколько страниц, где упоминался Нестор, и узнал, что это был отец Моны, финн по национальности, архитектор.

Нестора Эймонса во время Второй мировой войны сначала взяли в плен русские, а потом — немцы. Домой ему вернуться не разрешили и принудили работать в вермахте, в инженерных войсках, сражавшихся с югославскими партизанами.

Он был взят в плен четниками — сербскими партизанами-монархистами, а потом захвачен

партизанами, напавшими на четников.

Итальянские парашютисты, напавшие на партизан, освободили Эймонса и отправили его в Италию.

Итальянцы заставляли его строить укрепления в Сицилии. Он украл рыбачью лодку и добрался до нейтральной Португалии.

Там он познакомился с уклонявшимся от воинской повинности американцем по имени Джулиан Касл.

Узнав, что Эймонс архитектор, Касл пригласил его на остров Сан-Лоренцо строить там для него госпиталь, который должен был называться «Обитель Надежды и Милосердия в джунг-лях». Эймонс согласился. Он построил госпиталь, женился на туземке по имени Селия, произвел на свет совершенство — свою дочь — и умер.

55. Не делай указателя к собственной книге

Что касается жизни *Эймонс Моны*, то указатель создавал путаную, сюрреалистическую картину множества противодействующих сил в ее жизни и ее отчаянных попыток выйти из-под их влияния.

«Эймонс Мона, — сообщал указатель, — удочерена Монзано для поднятия его престижа, 194–199; 216; детство при госпитале «Обитель Надежды и Милосердия», 63–81; детский роман с Ф.ККаслом, 721; смерть отца, 89; смерть матери, 92; смущена доставшейся ей ролью национального эротического символа, 80, 95, 166, 209, 247, 400–406, 566, 678; обручена с Филиппом Каслом, 193; врожденная наивность, 67–71, 80, 95, 166, 209, 274, 400–406, 566, 678; жизнь с Бокононом, 92–98, 196–197; стихи об этом, 2, 26, 114, 119, 311, 316, 477, 501, 507, 555, 689, 718, 799, 800, 841, 846, 908, 971, 974; ее стихи, 89, 92, 193; возвращается к Боконону, 197; убегает от Бокононa, 199; убегает от Монзано, 197; возвращается к Монзано, 199; пытается изуродовать себя, чтобы не быть эротическим

символом для островитян, 80, 95, 116, 209, 247, 400–406, 566, 678; учится у Боконона, 63–80; пишет письмо в Объединенные Нации, 200; виртуозка на ксилофоне, 71».

Я дал этот указатель Минтонам и спросил их, не кажется ли им, что он сам по себе — увлекательная биография, биография девушки, против воли ставшей богиней любви. И неожиданно, как это случается в жизни, я получил разъяснение специалистки: оказалось, что Клэр Минтон в свое время была профессиональной составительницей указателей. Я впервые услышал, что есть такая специальность.

Она рассказала, что помогала мужу окончить колледж благодаря своим заработкам, что составление указателей хорошо оплачивается и что хороших составителей не так много.

Еще она сказала, что из авторов книг только самые что ни на есть дилетанты берутся за составление указателей к собственным книгам.

Я спросил, какого она мнения о работе Филиппа Касла.

— Лестно для автора, оскорбительно для читателя, — сказала она. — Говоря точнее, — добавила она со снисходительной любезностью специалистки, — сплошное *самоутверждение,* без

оговорок. Мне всегда неловко, когда сам автор составляет указатель к собственной книге.

— Неловко?

— Слишком разоблачительная вещь такой указатель, сделанный самим автором, — поучительно сказала она. — Просто бесстыдная откровенность, конечно для *опытного* глаза.

— Она может определить характер по указателю! — сказал ее муж.

— Да ну? — сказал я. — Что же вы скажете о Филиппе Касле?

Она слегка улыбнулась:

— Неудобно рассказывать малознакомому человеку.

— О, простите!

— Он явно влюблен в эту Мону Эймонс Монзано.

— По-моему, это можно сказать про всех мужчин из Сан-Лоренцо.

— К отцу он испытывает смешанные чувства, — сказала она.

— Но это можно сказать о каждом человеке на земле, — слегка поддразнил ее я.

— Он чувствует себя в жизни очень неуверенно.

— А кто из смертных чувствует себя уверен-

но? — спросил я. Тогда я не знал, что задаю вопрос совершенно в духе Боконона.

— И он никогда на ней не женится.

— Почему же?

— Я все сказала, что можно, — ответила она.

— Приятно встретить составителя указателей, уважающего чужие тайны, — сказал я.

— Никогда не делайте указателя к своим собственным книгам, — заключила она.

Боконон учит нас, что *дюпрасс* помогает влюбленной паре в уединенности их неослабевающей любви развить в себе внутреннее прозрение, подчас странное, но верное. Лишним доказательством этого был хитрый подход Минтонов к книжным указателям имен. И еще, говорит нам Боконон, *дюпрасс* рождает в людях некоторую самонадеянность. Минтоны и тут не были исключением.

Немного погодя Минтон встретился со мной в салоне самолета без жены и дал мне понять, как ему важно, чтобы я с уважением отнесся к сведениям, которые его жена умеет выудить из каждого указателя.

— Вы знаете, почему Касл никогда не женится на той девушке, хотя он любит ее и она любит его, хотя они и выросли вместе? — зашептал он.

— Нет, сэр, понятия не имею.

— Потому что он — гомосексуалист! — прошептал Минтон. — Она и это может узнать по указателю.

56. Самоокупающееся беличье колесо

Когда Лайонел Бойд Джонсон и капрал Эрл Маккэйб были выброшены голышом на берег Сан-Лоренцо, читал я, их встретили люди, которым жилось куда хуже, чем им. У населения Сан-Лоренцо не было ничего, кроме болезней, которые они ни лечить, ни назвать не умели. Напротив, Джонсон и Маккэйб владели бесценными сокровищами — грамотностью, целеустремленностью, любознательностью, наглостью, безверием, здоровьем, юмором и обширными знаниями о внешнем мире.

Как говорится в одном из калипсо:

Ох, какой несчастный
Тут живет народ!
Пива он не знает,
Песен не поет,
И куда ни сунься,
И куда ни кинь,
Все принадлежит католической церкви
Или компании «Касл и сын».

По словам Филиппа Касла, эта оценка имущественного положения Сан-Лоренцо в 1922 году совершенно справедлива. Сахарная компания «Касл и сын» действительно была основана прадедом Филиппа Касла. К 1922 году компания владела каждым клочком плодородной земли на этом острове.

«Сахарная компания «Касл и сын» на Сан-Лоренцо никогда не получала ни гроша прибыли, — пишет молодой Касл. — Но, не платя ничего рабочим за их работу, компания из года в год сводила концы с концами, зарабатывая достаточно, чтобы расплатиться с мучителями и угнетателями рабочих».

На острове царила анархия, кроме тех редких случаев, когда сахарная компания «Касл и сын» решала что-нибудь присвоить или что-нибудь предпринять. В таких случаях устанавливался феодализм. Феодалами были надсмотрщики плантаций сахарной компании — белые, хорошо вооруженные мужчины из других частей света. Вассалов набирали из рослых туземцев, которые были готовы за мелкие подачки и пустяковые привилегии убивать, калечить или пытать своих сородичей по первому приказу. Духовную жажду туземцев, пойманных в это дьявольское беличье

колесо, утоляла кучка сладкоречивых попов.

«Кафедральный собор Сан-Лоренцо, взорванный в 1923 году, когда-то считался в Западном полушарии одним из чудес света, созданных руками человека», — писал Касл.

57. Скверный сон

Никакого чуда в том, что капрал Маккэйб и Джонсон стали управлять островом, вовсе не было. Многие захватывали Сан-Лоренцо, и никто им не мешал. Причина была проще простого: Творец в неизреченной своей мудрости сделал этот остров совершенно бесполезным.

Фернандо Кортес был первым человеком, закрепившим на бумаге свою бесплодную победу над островом.

В 1519 году Кортес и его люди высадились там, чтобы запастись пресной водой, дали острову название, закрепили его за королем Карлом Пятым и больше туда не вернулись. Многие мореплаватели искали там золото и алмазы, пряности и рубины, ничего не находили, сжигали парочку туземцев для развлечения и острастки и плыли дальше.

«В 1682 году, когда Франция заявила притязания на Сан-Лоренцо, — писал Касл, — испанцы не возражали. Когда датчане в 1699 году заявили притязания на Сан-Лоренцо, французы не возражали. Когда голландцы заявили притязания на

Сан-Лоренцо в 1704, датчане не возражали. Когда Англия заявила притязания на Сан-Лоренцо в 1706-м, ни один голландец не возражал. Когда Испания снова выдвинула свои притязания на Сан-Лоренцо, ни один англичанин не возражал. Когда в 1786 году африканские негры завладели британским работорговым кораблем, высадились на Сан-Лоренцо и объявили этот остров независимым государством, испанцы не возражали.

Императором стал Тум-Бумва, единственный человек, который считал, что этот остров стоит защищать. Тум-Бумва, будучи маньяком, заставил народ воздвигнуть кафедральный собор Сан-Лоренцо и фантастические укрепления на северном берегу острова, где в настоящее время помещается личная резиденция так называемого президента республики.

Эти укрепления никто никогда не атаковал, да и ни один здравомыслящий человек не смог бы объяснить, зачем их надо атаковать. Они ничего не защищали. Говорят, что во время постройки укреплений погибло полторы тысячи человек. Из этих полутора тысяч половина была публично казнена за «недостаточное усердие».

Сахарная компания «Касл и сын» появилась на

Сан-Лоренцо в 1916 году, во время сахарного бума, вызванного Первой мировой войной. Никакого правительства там вообще не было. Компания решила, что даже глинистые и песчаные пустоши Сан-Лоренцо при столь высоких ценах на сахар можно обработать с прибылью. Никто не возражал.

Когда Маккэйб и Джонсон оказались на острове в 1922 году и объявили, что берут власть в свои руки, сахарная компания вяло снялась с места, словно проснувшись после скверного сна.

58. Особая тирания

«У новых завоевателей Сан-Лоренцо было по крайней мере одно совершенно новое качество, — писал молодой Касл. — Маккэйб и Джонсон мечтали осуществить в Сан-Лоренцо утопию.

С этой целью Маккэйб переделал всю экономику острова и все законодательство.

А Джонсон придумал новую религию».

Тут Касл снова процитировал очередное калипсо:

Хотелось мне во все
Какой-то смысл вложить,
Чтоб нам не ведать страха
И тихо-мирно жить,
И я придумал ложь –
Лучше не найдешь! –
Что этот грустный край –
Сущий рай!

Во время чтения кто-то потянул меня за рукав. Маленький Ньют Хониккер стоял в проходе ря-

дом с моим креслом.

— Не хотите ли пойти в бар, — сказал он, — поднимем бокалы, а?

И мы подняли, и мы опрокинули все, что полагалось, и у крошки Ньюта настолько развязался язык, что он мне рассказал про Зинку, свою приятельницу, — лилипутку, русскую балерину. Их гнездышком, рассказал он мне, был отцовский коттедж на мысе Код.

— Может быть, у меня никогда не будет свадьбы, — сказал он, — но медовый месяц у меня уже был.

Он описал мне эту идиллию: часами они с Зинкой лежали в объятиях друг друга, примостившись в отцовском плетеном кресле на самом берегу моря.

И Зинка танцевала для него.

— Только представьте себе, женщина танцует только для меня.

— Вижу, вы ни о чем не жалеете.

— Она разбила мне сердце. Это не очень приятно. Но я заплатил этим за счастье. А в нашем мире ты получаешь только то, за что платишь. — И он галантно провозгласил тост: — За наших жен и любовниц! И пусть они никогда не встречаются!

59. Пристегните ремни

Я все еще сидел в баре с Ньютом, с Лоу Кросби, еще с какими-то незнакомыми людьми, когда вдали показался остров Сан-Лоренцо. Кросби говорил о писсантах:

— Знаете, что такое писсант?

— Слыхал этот термин, — сказал я, — но, очевидно, он не вызывает у меня таких четких ассоциаций, как у вас.

Кросби здорово выпил и, как всякий пьяный, воображал, что можно говорить откровенно, лишь бы говорить с чувством. Он очень сочувственно и откровенно говорил о росте Ньюта, о чем до сих пор никто в баре и не заикался.

— Я говорю не про такого малыша, как вот он. — И Кросби повесил на плечо Ньюта руку, похожую на окорок. — Не рост делает человека писсантом, а образ мыслей. Видал я людей, раза в четыре выше этого вот малыша, и все они были настоящими писсантами. Видал я и маленьких людей — конечно, не таких малышей, но довольно-таки маленьких, будь я неладен, — и вы назвали бы их настоящими мужчинами.

— Благодарствую, — приветливо сказал маленький Ньют, даже не взглянув на чудовищную руку, лежавшую у него на плече. Никогда я не видел человека, который так умел справляться со своим физическим недостатком. Я был потрясен и восхищен.

— Вы говорили про писсантов, — напомнил я Кросби, надеясь, что он снимет тяжелую руку с бедного Ньюта.

— Правильно, черт побери! — Кросби расправил плечи.

— И вы нам не объяснили, что такое писсант, — сказал я.

— Писсант — это такой тип, который воображает, будто он умнее всех, и потому никогда не промолчит. Что бы другие ни говорили, писсанту всегда надо спорить. Вы скажете, что вам что-то нравится, и, клянусь Богом, он тут же начнет вам доказывать, что вы не правы и это вам нравиться не должно. При таком писсанте вы чувствуете себя окончательным болваном. Что бы вы ни сказали, он все знает лучше вас.

— Не очень привлекательный образ, — сказал я.

— Моя дочка собиралась замуж за такого писсанта, — сказал Кросби мрачно.

— И вышла за него?

— Я его раздавил, как клопа. — Кросби стукнул кулаком по стойке, вспомнив слова и дела этого писсанта. — Лопни мои глаза! — сказал он. — Да ведь мы все тоже учились в колледжах! — Он уставился на малыша Ньюта: — Ходил в колледж?

— Да, в Корнелл, — сказал Ньют.

— В Корнелл! — радостно заорал Кросби. — Господи, я тоже учился в Корнелле!

— И он тоже. — Ньют кивнул в мою сторону.

— Три корнельца на одном самолете! — крикнул Кросби, и тут пришлось отпраздновать еще один *гранфаллонский* фестиваль.

Когда мы немного поутихли, Кросби спросил Ньюта, что он делает.

— Малюю.

— Дома красишь?

— Нет, картины пишу.

— Фу, черт!

— Займите свои места и пристегните ремни, пожалуйста! — предупредила стюардесса. — Приближаемся к аэропорту Монзано, город Боливар, Сан-Лоренцо.

— А-а, черт! — сказал Кросби, глядя сверху вниз на Ньюта. — Погодите минутку, я вдруг вспом-

нил, что где-то слыхал вашу фамилию.

— Мой отец был отцом атомной бомбы. — Ньют не сказал «одним из отцов». Он сказал, что Феликс был отцом.

— Правда?

— Правда.

— Нет, мне кажется, что-то было другое, — сказал Кросби. Он напряженно вспоминал. — Что-то про танцовщицу.

— Пожалуй, надо пойти на место, — сказал Ньют, слегка насторожившись.

— Что-то про русскую танцовщицу. — Кросби был до того пьян, что не стеснялся думать вслух: — Помню, в газете читал, будто эта самая танцовщица была шпионка.

— Пожалуйста, джентльмены, — сказала стюардесса, — пора занять места и пристегнуть ремни.

Ньют взглянул на Лоу Кросби невинными глазами.

— Вы уверены, что там упоминалась фамилия Хониккер? — И во избежание всяких недоразумений он повторил свою фамилию по буквам.

— А может, я и ошибся, — сказал Кросби.

60. Обездоленный народ

С воздуха остров представлял собой поразительно правильный прямоугольник. Угрожающе и нелепо торчали из моря каменные иглы. Они опоясывали остров по кругу.

На южной оконечности находился портовый город Боливар.

Это был единственный город.

Это была столица.

Город стоял на болотистом плато. Взлетные дорожки аэропорта Монзано были на берегу, у самой воды.

К северу от Боливара круто вздымались горы, грубыми горбами заполняя весь остальной остров. Их звали Сангре де Кристо (Кровь Христова), но, по-моему, они больше походили на стадо свиней у корыта.

Боливар раньше назывался по-разному: Казма-каз-ма, Санта-Мария, Сан-Луи, Сент-Джордж и Порт-Глория — словом, много всяких названий было у него. В 1922 году Джонсон и Маккэйб дали ему теперешнее название, в честь Симона Боливара, великого идеалиста, героя Латинской

Америки.

Когда Джонсон и Маккэйб попали в этот город, он был построен из хвороста, жестянок, ящиков и глины, на катакомбах, прорытых триллионами крыс и прочих пожирателей отбросов, вырытых в кислой каше помоев, объедков и слизи.

Таким же застал этот город и я, если не считать фальшивого фасада новых архитектурных сооружений на берегу.

Джонсону и Маккэйбу так и не удалось вытащить этот народ из нищеты и грязи. Не удалось и «Папе» Монзано.

И никому не могло удаться, потому что Сан-Лоренцо был бесплоден, как Сахара или Северный полюс.

И в то же время плотность населения там была больше, чем где бы то ни было, включая Индию и Китай. На каждой непригодной для жизни квадратной миле проживало четыреста пятьдесят человек.

«В тот период, когда Джонсон и Маккэйб, обуреваемые идеализмом, пытались реорганизовать Сан-Лоренцо, было объявлено, что весь доход острова будет разделен между взрослым населением в одинаковых долях, — писал Филипп Касл. — В первый и последний раз, когда это попробовали

сделать, каждая доля составляла что-то от шести до семи долларов».

61. Цена капрала

В помещении таможни аэропорта Монзано нас попросили предъявить наши вещи и обменять те деньги, которые мы собирались истратить в Сан-Лоренцо, на местную валюту — капралы. По уверениям «Папы» Монзано, каждый капрал равнялся пятидесяти американским центам.

Помещение было чистое, новое, но множество объявлений уже было как попало наляпано на стены:

Каждый исповедующий боконизм на острове Сан-Лоренцо, гласило одно из объявлений, *умрет на крюке*!

На другом плакате был изображен сам Бокононон — тощий старичок-негр, с сигаретой во рту и с добрым, умным, насмешливым лицом.

Под фотографией стояла подпись: *10 000 капралов награды доставившему его живым или мертвым.*

Я присмотрелся к плакату и увидел, что внизу напечатано что-то вроде полицейской личной карточки, которую Бокононону пришлось заполнить неизвестно где в 1929 году. Напечатана

эта карточка была, очевидно, для того, чтобы показать охотникам за Бокононом отпечатки его пальцев и образец его почерка.

Но меня заинтересовали главным образом те ответы, которыми в 1929 году Боконон решил заполнить соответствующие графы. Где только возможно, он становился на космическую точку зрения, то есть принимал во внимание такие, скажем, понятия, как краткость человеческой жизни и бесконечность вечности.

Он заявлял, что его призвание — «быть живым».

Он заявлял, что его основная профессия — «быть мертвым».

Наш народ — христиане! Всякая игра пятками будет наказана крюком! — угрожал следующий плакат. Я не понял, что это значит, потому что еще не знал, что бокониста выражают родство душ, касаясь друг друга пятками. Но так как я еще не успел прочесть всю книгу Касла, то самой большой тайной для меня оставался вопрос: каким образом Боконон, лучший друг капрала Маккэйба, оказался вне закона?

62. Почему Хэзел не испугалась

В Сан-Лоренцо нас сошло семь человек: Ньют с Анджелой, Лоу Кросби с женой, посол Минтон с супругой и я. Когда мы прошли таможенный досмотр, нас вывели из помещения на трибуну для гостей.

Оттуда мы увидели до странности притихшую толпу.

Пять с лишним тысяч жителей Сан-Лоренцо смотрели на нас в упор. У островитян была светлая кожа, цвета овсяной муки. Все они были очень худые. Я не заметил ни одного толстого человека. У всех не хватало зубов. Ноги у них были кривые или отечные.

И ни одной пары ясных глаз.

У женщин были обвисшие голые груди. Набедренные повязки мужчин висели уныло, и то, что они еле прикрывали, походило на маятники дедовских часов.

Там было много собак, но ни одна не лаяла. Там было много младенцев, но ни один не плакал. То там, то сям раздавалось покашливание — и все.

Перед толпой стоял военный оркестр. Он не

играл.

Перед оркестром стоял караул со знаменами. Знамен было два — американский звездно-полосатый флаг и флаг Сан-Лоренцо. Флаг Сан-Лоренцо составляли шевроны капрала морской пехоты США на ярко-синем поле. Оба флага уныло повисли в безветренном воздухе.

Мне показалось, что вдали слышится барабанная дробь. Но я ошибся. Просто у меня в душе отдавалась звенящая, раскаленная, как медь, жара Сан-Лоренцо.

— Как я рада, что мы в христианской стране, — прошептала мужу Хэзел Кросби, — не то я бы немножко испугалась.

За нашими спинами стоял ксилофон.

На ксилофоне красовалась сверкающая надпись. Буквы были сделаны из гранатов и хрусталя.

Буквы составляли слово: «МОНА».

63. Набожный и вольный

С левой стороны нашей трибуны были выстроены в ряд шесть старых самолетов с пропеллерами — военная помощь США республике Сан-Лоренцо. На фюзеляжах с детской кровожадностью был изображен боа-констриктор, который насмерть душил черта. Из глаз, изо рта, из носа черта лилась кровь. Из окровавленных сатанинских пальцев выпадали трезубые вилы.

Перед каждым самолетом стоял пилот цвета овсяной муки и тоже молчал.

Потом над этой влажной тишиной послышалось назойливое жужжание, похожее на жужжание комара. Это звучала сирена. Сирена возвещала о приближении машины «Папы» Монзано — блестящего черного «кадиллака». Машина остановилась перед нами, подымая пыль.

Из машины вышли «Папа» Монзано, его приемная дочь Мона Эймонс Монзано и Фрэнклин Хониккер.

«Папа» повелительно махнул вялой рукой, и толпа запела национальный гимн Сан-Лоренцо. Мотив был взят у популярной песни «Дом на

ранчо». Слова написал в 1922 году Лайонел Бонд Джонсон, то есть Боконон. Вот эти слова:

Расскажите вы мне
О счастливой стране,
Где мужчины храбрее акул,
А женщины все
Сияют в красе
И с дороги никто не свернул!
Сан, Сан-Лоренцо,
Приветствует добрых гостей!
Но земля задрожит,
Когда враг побежит
От набожных вольных людей!

64. Мир и процветание

И снова толпа застыла в мертвом молчании. «Папа» с Моной и с Фрэнком присоединились к нам на трибуне. Одинокая барабанная дробь сопровождала их шаги. Барабан умолк, когда «Папа» ткнул пальцем в барабанщика.

На «Папе» поверх рубашки висела кобура на портупее. В ней был сверкающий кольт 45-го калибра. «Папа» был старый-престарый человек, как и многие члены моего *карасса.* Вид у него был совсем больной. Он передвигался мелкими, шаркающими шажками. И хотя он все еще был человеком в теле, но жир явно таял так быстро, что строгий мундир уже висел на нем мешком. Белки жабьих глаз отливали желтизной. Руки дрожали.

Его личным телохранителем был генерал-майор Фрэнклин Хониккер в белоснежном мундире. Фрэнк, тонкорукий, узкоплечий, походил на ребенка, которому давно пора спать. На груди у него болталась медаль.

Я с трудом мог сосредоточить внимание на «Папе» и Фрэнке — и не потому, что их заслоняли, а

потому, что не мог отвести глаз от Моны. Я был поражен, восхищен, я обезумел от восторга.

Все мои жадные и безрассудные сны о той единственной совершенной женщине воплотились в Моне. В ней, да благословит Творец ее душу, нежную, как теплые сливки, был мир и радость во веки веков.

Эта девочка — а ей было всего лет восемнадцать — сияла блаженной безмятежностью. Казалось, она все понимала и воплощала все, что надо было понять. В Книгах Боконона упоминается ее имя. Вот одно из высказываний Боконона о ней: «Мона проста, как все сущее».

Платье на ней было белое — греческая туника.

На маленьких смуглых ногах — легкие сандалии.

Длинные прямые пряди бледно-золотистых волос…

Бедра как лира…

О Господи…

Мир и радость во веки веков.

Она была единственной красавицей в Сан-Лоренцо. Она была народным достоянием. Как писал Филипп Касл, «Папа» удочерил ее, чтобы ее божественный образ смягчал жестокость его владычества.

На край трибуны выкатили ксилофон. И Мона заиграла. Она играла гимн «На склоне дня». Сплошное тремоло звучало, замирало и снова начинало звенеть.

Красота опьяняла толпу.

Но пора было «Папе» приветствовать нас.

65. Удачный момент для посещения Сан-Лоренцо

«Папа» был самоучкой и раньше служил управляющим у капрала Маккэйба. Он никогда не выезжал за пределы острова. Говорил он на неплохом англо-американском языке.

Все наши выступления с трибуны передавались в толпу лаем огромных, словно на Страшном суде, рупоров.

Звуки, проходя через рупоры, воплями летели по короткому широкому переходу за спиной толпы, отскакивали от стеклянных стен трех новых зданий и с клекотом возвращались обратно.

— Привет вам, — сказал «Папа». — Вы прибыли к лучшим друзьям Америки. К Америке неправильно относятся во многих странах, но только не у нас, господин посол. — И он поклонился Лоу Кросби, фабриканту велосипедов, приняв его за нового посла.

— Знаю, знаю, у вас тут отличная страна, господин президент, — сказал Кросби. — Все, что я о ней слышал, по-моему, великолепно. Вот только одно…

— Да?

— Я не посол, — сказал Кросби. — Я бы и рад, но я обыкновенный простой коммерсант. — Ему было неприятно назвать настоящего посла: — Вот тот человек и есть важная шишка.

— Ага! — «Папа» улыбнулся своей ошибке. Но улыбка внезапно исчезла.

Он вздрогнул от боли, потом согнулся пополам и зажмурился, изо всех сил преодолевая эту боль.

Фрэнк Хониккер неловко и неумело попытался поддержать его:

— Вам нехорошо?

— Простите, — пробормотал наконец «Папа», пытаясь выпрямиться. В глазах у него стояли слезы. Он смахнул их и весь выпрямился: — Прошу прощения. — Казалось, он на минуту забыл, где он, чего от него ждут. Потом вспомнил. Он пожал руку Хорлику Минтону: — Вы тут среди друзей.

— Я в этом уверен, — мягко сказал Минтон.

— Среди христиан, — сказал «Папа».

— Очень рад.

— Среди антикоммунистов, — сказал «Папа».

— Очень рад.

— Здесь коммунистов нет, — сказал «Папа». — Они слишком боятся крюка.

— Так я и думал, — сказал Минтон.

— Вы прибыли сюда в очень удачное время, — сказал «Папа». — Завтра счастливейший день в истории нашей страны. Завтра наш великий национальный праздник — День «Ста мучеников за демократию». В этот день мы также отпразднуем обручение генерал-майора Фрэнклина Хониккера с Моной Эймонс Монзано, самым дорогим существом в моей жизни, в жизни всего Сан-Лоренцо.

— Желаю вам большого счастья, мисс Монзано, — горячо сказал Минтон. — И поздравляю вас, генерал Хониккер.

Молодая пара поблагодарила его поклоном. И тут Минтон заговорил о так называемых ста мучениках за демократию и сказал вопиющую ложь:

— Нет ни одного американского школьника, который не знал бы о благородной жертве народа Сан-Лоренцо во Второй мировой войне. Сто храбрых граждан Сан-Лоренцо, чью память мы отмечаем завтра, отдали все, что может отдать свободолюбивый человек. Президент Соединенных Штатов просил меня быть его личным представителем во время завтрашней церемонии и пустить по морским волнам венок — дар

американского народа народу Сан-Лоренцо.

— Народ Сан-Лоренцо благодарит вас лично, президента Соединенных Штатов и щедрый американский народ за внимание, — сказал «Папа». — Вы окажете нам большую честь, если сами опустите в море венок во время завтрашнего праздника обручения.

— Великая честь для меня, — сказал Минтон. «Папа» пригласил всех нас оказать ему честь своим присутствием на церемонии опускания венка и на празднике в честь обручения. Нам надлежало прибыть во дворец к полудню.

— Какие у них будут дети! — сказал «Папа», направляя наши взгляды на Фрэнклина и Мону. — Какая кровь! Какая красота!

Тут его снова схватила боль.

Он снова закрыл глаза, скорчившись от мучительной боли.

Он ждал, пока боль пройдет, но она не проходила.

В мучительном припадке он отвернулся от нас к толпе.

Он попытался что-то жестами показать толпе — и не смог. Он попытался что-то сказать им — и не смог.

Наконец он выдавил из себя слова.

— Ступайте домой! — крикнул он, задыхаясь. — Ступайте домой!

Толпа разлетелась, как сухие листья. «Папа» обернулся к нам, нелепо корчась от боли… И свалился замертво.

66. Сильнее всего на свете

Но он не умер.

Его можно было бы принять за мертвеца, если бы в этой смертной неподвижности по телу его изредка не пробегала судорожная дрожь.

Фрэнк громко крикнул, что «Папа» не умер, что он *не может* умереть. Он был в отчаянии.

— «Папа», не умирайте! Не надо!

Фрэнк расстегнул воротник его куртки, стал растирать ему руки.

— Дайте ему воздуха! Воздуха «Папе»! — кричал он.

Летчики с истребителей бросились нам на помощь. У одного из них хватило сообразительности побежать за «скорой помощью».

Я взглянул на Мону и увидел, что она, по-прежнему безмятежная, отошла к парапету трибуны. Даже если смерть случится при ней, ее это, вероятно, не встревожит.

Рядом с ней стоял летчик. Он не смотрел на нее, но весь сиял полным блаженством, и я объяснил это ее близостью.

«Папа» постепенно приходил в сознание.

Слабой рукой, трепыхавшейся, как пойманная птица, он указал на Фрэнка:

— Вы… — начал он.

Мы все умолкли, чтобы не пропустить его слова.

Губы у него зашевелились, но мы ничего не услыхали, кроме какого-то клокотания.

У кого-то возникла идея, тогда показавшаяся блестящей, — теперь, задним числом, видно, что идея была отвратительная. Кто-то, кажется один из летчиков, снял микрофон со стойки и поднес к сидящему «Папе», чтобы усилить звук его голоса.

И тут от стен новых зданий, как эхо в горах, стали отдаваться предсмертные хрипы и какие-то судорожные завывания. Потом прорезались слова.

— Вы — хрипло сказал он Фрэнку, — вы, Фрэнклин Хониккер, вы — будущий президент Сан-Лоренцо. Наука… У вас в руках наука. Наука сильнее всего на свете. Наука, — повторил «Папа», — лед… — Он закатил желтые глаза и снова потерял сознание.

Я взглянул на Мону. Выражение ее лица не изменилось.

Но зато у летчика, стоявшего рядом с ней, на лице застыла восторженная неподвижная гримаса,

будто ему вручали Почетную медаль конгресса за храбрость.

Я опустил глаза и увидал то, чего не надо было видеть.

Мона сняла сандалию. Ее маленькая смуглая ножка была голой. И этой обнаженной ступней она пожимала, мяла, мяла, непристойно мяла сквозь башмак ногу летчика.

67. Ку-рю-ка

На этот раз «Папа» остался жив.

Его увезли из аэропорта в огромном красном фургоне, в каких возят мясо.

Минтонов забрал в посольство американский лимузин.

Ньюта и Анджелу отвезли на квартиру Фрэнка в правительственном лимузине Сан-Лоренцо.

Чету Кросби и меня отвезли в отель «Каса Мона» в единственном сан-лоренцском такси, похожем на катафалк «крайслер» с откидными сиденьями, образца 1939 года. На машине было написано: «Транспортное агентство Касл и К°». Автомобиль принадлежал Филиппу Каслу, владельцу «Каса Мона», сыну бескорыстнейшего человека, у которого я приехал брать интервью.

И чета Кросби, и я были расстроены. Наше беспокойство выражалось в том, что мы непрестанно задавали вопросы, требуя немедленного ответа. Оба Кросби желали знать, кто такой Боконон. Их шокировала мысль, что кто-то осмелился пойти против «Папы» Монзано.

А мне ни с того ни с сего вдруг приспичило

немедленно узнать, кто такие «сто мучеников за демократию».

Сначала получили ответ супруги Кросби. Они не понимали сан-лоренцского диалекта, и мне пришлось им переводить. Главный их вопрос к нашему шоферу можно сформулировать так: «Что за чертовщина и кто такой этот писсант Боконон?»

— Очень плохой человек, — ответил наш шофер. Произнес он это так: «Осень прохой человека».

— Коммунист? — спросил Кросби, выслушав мой перевод.

— Да, да!

— А у него есть последователи?

— Как, сэр?

— Кто-нибудь считает, что он прав?

— О нет, сэр, — почтительно сказал шофер. — Таких сумасшедших тут нет.

— Почему же его не поймали? — спросил Кросби.

— Его трудно найти, — сказал шофер. — Очень хитрый.

— Значит, его кто-то прячет, кто-то его кормит, иначе его давно поймали бы.

— Никто не прячет, никто не кормит. Все ум-

ные, никто не смеет.

— Вы уверены?

— Да, уверен! — сказал шофер. — Кто этого сумасшедшего старика накормит, кто его приютит — сразу попадет на крюк. А кому хочется на крюк?

Последнее слово он произносил так: «Курюка».

68. «Сито мусеники»

Я спросил шофера, кто такие «сто мучеников за демократию». Мы как раз проезжали бульвар, который так и назывался — бульвар имени Ста мучеников за демократию.

Шофер рассказал мне, что Сан-Лоренцо объявил войну Германии и Японии через час после нападения на Перл-Харбор.

В Сан-Лоренцо было призвано сто человек — сражаться за демократию. Эту сотню посадили на корабль, направляющийся в США: там их должны были вооружить и обучить.

Но корабль был потоплен немецкой подлодкой у самого выхода из боливарской гавани.

— Эси рюди, сэр, — сказал шофер на своем диалекте, — и быри сито мусеники за зимокарасию.

— Эти люди, сэр, — означало по-английски, — и были «Сто мучеников за демократию».

69. Огромная мозаика

Супруги Кросби и я испытывали странное ощущение: мы были первыми посетителями нового отеля. Мы первые занесли свои имена в книгу приезжих в «Каса Мона».

Оба Кросби подошли к регистратуре раньше меня, но Лоу Кросби был настолько поражен видом совершенно чистой книги записей, что не мог заставить себя расписаться. Сначала он должен был это обдумать.

— Распишитесь вы сперва, — сказал он мне. И потом, не желая, чтобы я счел его суеверным, объявил, что хочет сфотографировать человека, который украшал мозаикой оштукатуренную стену холла.

Мозаика изображала Мону Эймонс Монзано. Портрет достигал в вышину футов двадцати. Человек, работавший над мозаикой, был молод и мускулист. Он сидел на верхней ступеньке переносной лестницы. На нем ничего не было, кроме парусиновых брюк.

Он был белый человек.

Сейчас художник делал из золотой стружки

тонкие волосики на затылке над лебединой шейкой Моны.

Кросби пошел фотографировать его; вернулся, чтобы сообщить нам, что такого писсанта он еще в жизни не встречал. Лицо у Кросби стало цвета томатного сока: «Ему ни черта сказать невозможно, сразу все выворачивает наизнанку».

Тогда я подошел к художнику, постоял, посмотрел на его работу и сказал:

— Я вам завидую.

— Так я и знал, — вздохнул он, — знал, что, стоит мне только выждать, непременно явится кто-то и позавидует мне. Я себе все твердил — надо набраться терпения, и раньше или позже явится завистник.

— Вы — американец?

— Имею счастье. — Он продолжал работать, а взглянуть на меня, посмотреть, что я за птица, ему было неинтересно: — А вы тоже хотите меня сфотографировать?

— Вы не возражаете?

— Я думаю — значит, существую, значит, могу быть сфотографирован.

— К несчастью, у меня нет с собой аппарата.

— Так пойдите за ним, черт подери. Разве вы из тех людей, которые доверяют своей памяти?

— Ну, это лицо на вашей мозаике я так скоро не забуду.

— Забудете, когда помрете, и я тоже забуду. Когда умру, я все забуду, чего и вам желаю.

— Она вам позировала, или вы работаете по фотографии, или еще как?

— Я работаю еще как.

— Что?

— Я работаю еще как. — Он постучал себя по виску. — Все тут, в моей достойной зависти башке.

— Вы ее знаете?

— Имею счастье.

— Фрэнк Хониккер счастливец.

— Фрэнк Хониккер кусок дерьма.

— А вы человек откровенный.

— И к тому же богатый.

— Рад за вас.

— Хотите знать мнение опытного человека? Деньги не всегда дают людям счастье.

— Благодарю за информацию. Вы сняли с меня большую заботу. Ведь я как раз придумал себе заработок.

— Какой?

— Хотел писать.

— Я тоже как-то написал книгу.

— Как она называлась?

— «Сан-Лоренцо. География, история, народонаселение».

70. Питомец Боконона

— Значит, вы — Филипп Касл, сын Джулиана Касла, — сказал я художнику.

— Имею счастье.

— Я приехал повидать вашего отца.

— Вы продаете аспирин?

— Нет.

— Жаль, жаль. У отца кончается аспирин. Может, у вас есть какое-нибудь чудодейственное зелье? Папаша любит делать чудеса.

— Нет, я никакими зельями не торгую. Я писатель.

— А почему вы думаете, что писатели не торгуют зельем?

— Сдаюсь. Признаю себя виновным.

— Отцу нужна какая-нибудь книга — читать вслух людям больным или умирающим в страшных мучениях. Но вы, наверное, ничего такого не написали.

— Пока нет.

— Мне кажется, на этом можно бы подзаработать. Вот вам еще один ценный совет.

— Может, мне удалось бы переписать двадцать

третий псалом, немножко его переделать, чтобы никто не догадался, что придумал его не я.

— Боконон уже пытался переделать этот псалом, — сообщил он мне, — и понял, что ни слова изменить нельзя.

— Вы и его знаете?

— Имею счастье. Он был моим учителем, когда я был мальчишкой. — Он с нежностью кивнул на свою мозаику:

— Мона тоже его ученица.

— А он был хороший учитель?

— Мы с Моной умеем читать, писать и решать простые задачи, — сказал Касл, — вы ведь об этом спрашиваете?

71. Имею счастье быть американцем

Тут подошел Лоу Кросби — еще раз взглянуть на Касла, на этого писсанта.

— Так кем вы себя считаете? — насмешливо спросил он. — Битником или еще кем?

— Я считаю себя боконистом.

— Но это же против законов этой страны?

— Я случайно имею счастье быть американцем. Я называю себя боконистом, когда мне вздумается, и до сих пор никто меня за это не трогал.

— А я считаю, что надо подчиняться законам той страны, где находишься.

— Это по вас видно.

Кросби побагровел:

— Иди ты в задницу, Джек!

— Сам иди туда, Джаспер, — мягко сказал Касл, — и все ваши праздники вместе с Рождеством и Днем благодарения — туда же.

Кросби прошагал через весь холл к регистратору и сказал:

— Я желаю заявить на этого человека, на этого писсанта, на этого так называемого художника.

У вас тут страна хотя и маленькая, но хорошая, старается привлечь туристов, старается заполучить новые вклады в промышленность. А этот малый так со мной разговаривал, что ноги моей больше тут не будет, и ежели меня знакомые спросят про Сан-Лоренцо, я им скажу, чтобы носа сюда не совали. Может, там, на стенке, у вас и выйдет красивая картина, но, клянусь честью, такого писсанта, такого нахального, наглого сукина сына, как этот ваш художник, я в жизни не видел.

Клерк позеленел:

— Сэр…

— Что скажете? — сказал Кросби, горя негодованием.

— Сэр, это же владелец отеля.

72. Писсантный Хилтон

Лоу Кросби с супругой выбыли из отеля «Каса Мона». Кросби обозвал его «писсантный Хилтон» и потребовал приюта в американском посольстве.[7]

И я оказался единственным постояльцем отеля в сто комнат.

Номер у меня был приятный. Он, как и все другие номера, выходил на бульвар имени Ста мучеников за демократию, на аэропорт Монзано и боливарскую гавань. «Каса Мона» архитектурой походила на книжный шкаф — глухие каменные стены позади и сбоку, а фасад сплошь из голубовато-зеленого стекла. Город, с его нищетой и убожеством, не был виден: он был расположен позади и по сторонам, за глухими стенами «Каса Мона».

Моя комната была снабжена кондиционером. Там было почти прохладно. Войдя с ошеломительной жары в эту прохладу, я расчихался.

На столике у кровати стояли свежие цветы,

---

[7] Сноски: 7

Хилтон — название фирмы, владеющей роскошными отелями во многих странах.

но постель не была заправлена. На ней даже подушки не было, один только голый новехонький поролоновый матрас. А в шкафу — ни одной вешалки, в уборной — ни клочка туалетной бумаги.

И я вышел в коридор поискать горничную, которая снабдила бы меня всем необходимым. Там никого не было, но в дальнем конце дверь стояла открытой и смутно доносились какие-то живые звуки.

Я подошел к этой двери и увидал большие апартаменты. Пол был закрыт мешковиной. Комнату красили, но, когда я вошел, двое маляров занимались не этим. Они сидели на широких и длинных козлах под окнами.

Они сняли обувь. Они закрыли глаза. Они сидели лицом друг к другу.

И они прижимались друг к другу голыми пятками.

Каждый обхватил свои щиколотки, застыв неподвижным треугольником.

Я откашлялся…

Оба скатились с козел и упали на заляпанную мешковину. Они упали на четвереньки — и так и остались, прижав носы к полу и выставив зады. Они ждали, что их сейчас убьют.

— Простите, — сказал я растерянно.

— Не говорите никому, — жалобно попросил один. — Прошу вас, никому не говорите.

— Про что?

— Про то, что видели.

— Я ничего не видел.

— Если скажете, — проговорил он, прижавшись щекой к полу, и умоляюще посмотрел на меня, — если скажете, мы умрем на ку-рю-ке…

— Послушайте, ребята, — сказал я, — то ли я пришел слишком рано, то ли слишком поздно, но повторяю: я ничего не видел такого, о чем стоит рассказывать. Прошу вас, встаньте!

Они поднялись с пола, не спуская с меня глаз. Они дрожали и ежились. Мне еле-еле удалось их убедить, что я никому не расскажу то, что видел.

А видел я, конечно, боконистский ритуал, так называемое *боко-мару*, или обмен познанием.

Мы, боконисты, верим, что, прикасаясь друг к другу пятками — конечно, если у обоих ноги чистые и ухоженные, — люди непременно почувствуют взаимную любовь.

Основа этой церемонии изложена в следующем калипсо:

Пожмем друг другу пятки

И будем всех любить,
Любить, как нашу Землю,
Где надо дружно жить.

73. Черная смерть

Когда я вернулся к себе в номер, я увидел, что Филипп Касл, художник по мозаике, историк, составитель указателя к собственной книге, писсант и владелец отеля, прилаживает ролик туалетной бумаги в моей ванной комнате.

— Большое вам спасибо, — сказал я.

— Не за что.

— Вот это действительно гостеприимный отель, — сказал я. — Ну где еще найдешь владельца отеля, который сам непосредственно заботится об удобстве гостей?

— А где еще найдешь отель с одним постояльцем?

— У вас их было трое.

— Незабвенное время…

— Знаете, может быть, я лезу не в свое дело, но трудно понять, как человека с вашим кругозором, с вашими талантами могла так привлечь роль владельца гостиницы?

Он недоуменно нахмурился:

— Вам кажется, что я не совсем так обращаюсь с гостями, как надо?

— Я знал некоторых людей в Школе обслуживания гостиниц в Корнелле, и мне почему-то кажется, что они обошлись бы с этим Кросби как-то по-другому.

Он сокрушенно покачал головой.

— Знаю. Знаю. — Он вдруг хлопнул себя по бокам. — Сам не понимаю, какого дьявола я выстроил эту гостиницу, должно быть, захотелось чем-то заполнить жизнь. Чем-то заняться, как-то уйти от одиночества. — Он покачал головой. — Надо было либо стать отшельником, либо открыть гостиницу — выбора не было.

— Кажется, вы выросли при отцовском госпитале?

— Верно. Мы с Моной оба выросли там.

— И вас никак не соблазняла мысль устроить свою жизнь, как устроил ее ваш отец?

Молодой Касл неуверенно улыбнулся, избегая прямого ответа.

— Он чудак, мой отец, — сказал он, — наверно, он вам понравится.

— Да, по всей вероятности. Бескорыстных людей не так уж много.

— Давно, когда мне было лет пятнадцать, — заговорил Касл, — поблизости отсюда взбунтовалась команда греческого корабля, который шел

из Гонконга в Гавану с грузом плетеной мебели. Мятежники захватили корабль, но справиться с ним не могли и разбились о скалы неподалеку от замка «Папы» Монзано. Все утонули, кроме крыс. Крыс и плетеную мебель прибило к берегу.

Этим как будто и кончался его рассказ, но я неуверенно спросил:

— А потом?

— Потом часть населения получила даром плетеную мебель, а часть — бубонную чуму. У отца в госпитале за десять дней умерло около полутора тысяч человек. Вы когда-нибудь видали, как умирают от бубонной чумы?

— Меня миновало такое несчастье.

— Лимфатические железы в паху и под мышками распухают до размеров грейпфрута.

— Охотно верю.

— После смерти труп чернеет — правда, у черных чернеть нечему. Когда чума тут хозяйничала, наша Обитель Надежды и Милосердия походила на Освенцим или Бухенвальд. Трупов накопилось столько, что бульдозер заело, когда их пытались сбросить в общую могилу. Отец много дней подряд работал без сна, но и без всяких результатов: почти никого спасти не удалось.

Жуткий рассказ Касла был прерван телефон-

ным звонком.

— Господи! — сказал Касл. — Я и не знал, что телефоны уже включены.

Я поднял трубку:

— Алло?

Звонил генерал-майор Фрэнклин Хониккер. Он тяжело дышал и, видно, был перепуган до смерти:

— Слушайте! Немедленно приезжайте ко мне домой. Нам необходимо поговорить. Для вас это страшно важно!

— Вы не можете мне объяснить, в чем дело?

— Только не по телефону, не по телефону! Приезжайте ко мне. Прошу вас!

— Хорошо.

— Я не шучу. Для вас это страшно важно. Такого важного случая у вас в жизни еще никогда не было… — И он повесил трубку.

— Что случилось? — спросил Филипп Касл.

— Понятия не имею. Фрэнк Хониккер хочет немедленно видеть меня.

— Не торопитесь. Отдохните. Он же идиот.

— Говорит, очень важное дело.

— Откуда он знает — что важно, что неважно? Я бы мог вырезать из банана человечка умнее, чем он.

— Ладно, рассказывайте дальше.

— На чем я остановился?

— На бубонной чуме. Бульдозер заело — столько было трупов.

— А, да. Одну ночь я провел с отцом, помогал ему. Мы только и делали, что искали живых среди мертвецов. Но койка за койкой, койка за койкой — одни трупы.

— И вдруг отец засмеялся, — продолжал Касл. — И никак не мог остановиться. Он вышел в ночь с карманным фонарем. Он все смеялся и смеялся. Свет фонаря падал на горы трупов, сложенных во дворе, а он водил по ним лучом фонаря. И вдруг он положил руку мне на голову, и знаете, что этот удивительный человек сказал мне?

— Нет.

— Сынок, — сказал мне мой отец, — когда-нибудь все это будет твоим.

74. Колыбель для кошки

Я поехал домой к Фрэнку в единственном такси Сан-Лоренцо.

Мы ехали мимо безобразной нищеты. Мы поднялись по склону горы Маккэйб. Стало прохладнее. Поднялся туман.

Фрэнк жил в бывшем доме Нестора Эймонса, отца Моны, архитектора, построившего Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.

Эймонс сам спроектировал этот дом.

Дом нависал над водопадом, терраса выступала козырьком прямо в туман, стоявший над водопадом. Это было хитрое переплетение очень легких стальных опор и карнизов. Просветы переплета были закрыты по-разному — то куском местного гранита, то стеклом, то шторкой из парусины.

Казалось, что дом был выстроен не для того, чтобы служить людям укрытием, а чтобы продемонстрировать причуды его строителя.

Вежливый слуга приветствовал меня и сказал, что Фрэнк еще не вернулся домой. Фрэнка ждали с минуты на минуту. Фрэнк приказал, чтобы меня приняли как можно лучше, устроили поудобнее

и попросили остаться ужинать и ночевать. Этот слуга — он сказал, что его имя Стэнли, — был первым толстым жителем Сан-Лоренцо, попавшимся мне на глаза.

Стэнли провел меня в мою комнату, мы прошли по центру дома вниз по лестнице грубого камня — сбоку шли то открытые, то закрытые прямоугольники в стальной оправе. Моя постель представляла собой толстый поролоновый тюфяк, лежавший на каменной полке — полке из неотесанного камня. Стены моей комнаты были из парусины. Стэнли показал мне, как их по желанию можно подымать и опускать.

Я спросил Стэнли, кто еще дома, и он сказал, что дома только Ньют. Ньют, сказал он, сидит на висячей террасе и пишет картину. Анджела, сказал он, ушла поглядеть Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.

Я вышел на головокружительную террасу, нависшую над водопадом, и застал крошку Ньюта спящим в раскладном желтом кресле.

Картина, над которой работал Ньют, стояла на мольберте у алюминиевых перил. Полотно как бы вписывалось в туманный фон неба, моря и долины.

Сама картина была маленькая, черная, шер-

шавая. Она состояла из сети царапин на густой черной подмалевке. Царапины сплетались во что-то вроде паутины, и я подумал: не те ли это сети, что липкой бессмыслицей опутывают человеческую жизнь, вывешены здесь на просушку в безлунной ночи?

Я не стал будить лилипута, написавшего эту страшную штуку.

Я закурил, слушая воображаемые голоса в шуме водопада.

Разбудил Ньюта взрыв далеко внизу. Звук прокатился над равниной и ушел в небеса. Палила пушка на боливарской набережной, объяснил мне дворецкий Фрэнка. Она стреляла ежедневно в пять часов.

Маленький Ньют заворочался.

Еще в полусне он потер черными от краски ладонями рот и подбородок, оставляя черные пятна. Он протер глаза, измазав и веки черной краской.

— Привет, — сказал он сонным голосом.

— Привет, — сказал я, — мне нравится ваша картина.

— А вы видите, что на ней?

— Мне кажется, каждый видит ее по-своему.

— Это же кошкина колыбель.

— Ага, — сказал я, — здорово. Царапины — это

веревочка. Правильно?

— Это одна из самых древних игр — заплетать веревочку. Даже эскимосам она известна.

— Да что вы!

— Чуть ли не сто тысяч лет взрослые вертят под носом у своих детей такой переплет из веревочки.

— Угу.

Ньют все еще лежал, свернувшись в кресле. Он расставил руки, словно держа между пальцами сплетенную из веревочки «кошкину колыбель».

— Неудивительно, что ребята растут психами. Ведь такая «кошкина колыбель» — просто переплетенные иксы на чьих-то руках. А малыши смотрят, смотрят, смотрят на эти крестики…

— Ну и что?

— И никакой распроклятой кошки, никакой распроклятой колыбельки!

75. Передайте привет доктору Альберту Швейцеру

А тут пришла Анджела Хониккер Коннерс, долговязая сестра Ньюта, и привела Джулиана Касла, отца Филиппа и основателя Обители Надежды и Милосердия в джунглях. На Касле был мешковатый костюм белого полотна и галстук веревочкой. Усы у него топорщились. Он был лысоват. Он был очень худ. Он, как я полагаю, был святой.

Тут, на висячей террасе, он познакомился с Ньютом и со мной. Но он заранее пресек всякий разговор о его святом призвании, заговорив, как гангстер из фильма, цедя слова сквозь зубы и кривя рот.

— Как я понял, вы последователь доктора Альберта Швейцера? — сказал я ему.

— На расстоянии. — Он осклабился, как убийца. — Никогда не встречал этого господина.

— Но он, безусловно, знает о вашей работе, как и вы знаете о нем.

— То ли да, то ли нет. Вы с ним встречались?

— Нет.

— Собираетесь встретиться?

— Возможно, когда-нибудь и встречусь.

— Так вот, — сказал Джулиан Касл, — если случайно в своих путешествиях вы столкнетесь с доктором Швейцером, можете сказать ему, что он не мой герой. — И он стал раскуривать длинную сигару.

Когда сигара хорошо раскурилась, он ткнул в мою сторону ее раскаленным кончиком.

— Можете ему сказать, что он не мой герой, — повторил он, — но можете ему сказать, что благодаря ему Христос стал моим героем.

— Думаю, что его это обрадует.

— А мне наплевать, обрадует или нет. Это личное дело — мое и Христово.

76. Джулиан Касл соглашается с Ньютом, что все на свете – бессмыслица

Джулиан Касл и Анджела подошли к картине Ньюта. Касл сложил колечком указательный палец и посмотрел сквозь дырочку на картину.

— Что вы скажете? — спросил я.

— Да тут все черно. Это что же такое — ад?

— Это то, что вы видите, — сказал Ньют.

— Значит, ад, — рявкнул Касл.

— А мне только что объяснили, что это «колыбель для кошки», — сказал я.

— Объяснения автора всегда помогают, — сказал Касл.

— Мне кажется, что это нехорошо, — пожаловалась Анджела. — По-моему, очень некрасиво, правда, я ничего не понимаю в современной живописи. Иногда мне так хочется, чтобы Ньют взял хоть несколько уроков, он бы тогда знал наверняка, правильно он рисует или нет.

— Вы самоучка, а? — спросил Джулиан Касл у Ньюта.

— А разве мы все не самоучки? — спросил

Ньют.

— Прекрасный ответ, — с уважением сказал Касл.

Я взялся объяснить скрытый смысл «колыбели для кошки», так как Ньюту явно не хотелось снова заводить всю эту музыку.

Касл серьезно наклонил голову:

— Значит, это картина о бессмысленности всего на свете? Совершенно согласен.

— Вы и вправду согласны? — спросил я. — Но вы только что говорили про Христа.

— Про кого?

— Про Иисуса Христа.

— А-а! — сказал Касл. — Про *него*! — Он пожал плечами. — Нужно же человеку о чем-то говорить, упражнять голосовые связки, чтобы они хорошо работали, когда придется сказать что-то действительно важное.

— Понятно. — Я сообразил, что нелегко мне будет писать популярную статейку про этого человека. Придется мне сосредоточиться на его благочестивых поступках и совершенно отмести его сатанинские мысли и слова.

— Можете меня цитировать, — сказал он. — Человек гадок, и человек ничего стоящего и делать не делает и знать не знает. — Он наклонился и

пожал вымазанную краской руку маленького Ньюта: — Правильно?

Ньют кивнул, хотя ему, как видно, показалось, что тот немного преувеличивает:

— Правильно.

И тут наш святой подошел к картине Ньюта и снял ее с мольберта. Взглянув на нас, он расплылся в улыбке:

— Мусор, мусор, как и все на свете.

И швырнул картину с висячей террасы. Она взмыла кверху в струе воздуха, остановилась, бумерангом отлетела обратно и скользнула в водопад.

Маленький Ньют промолчал.

Первой заговорила Анджела:

— У тебя все лицо в краске, детка. Поди умойся.

77. Аспирин и боко-мару

— Скажите, мне, доктор, — спросил я Джулиана Касла, — как здоровье «Папы» Монзано?

— А я почем знаю?

— Но я думал, что вы его лечите.

— Мы с ним не разговариваем, — усмехнулся Касл. — Последний раз, года три назад, он мне сказал, что меня не вешают на крюк только потому, что я — американский гражданин.

— Чем же вы его обидели? Приехали сюда, на свои деньги выстроили бесплатный госпиталь для его народа…

— «Папе» не нравится, как мы обращаемся с пациентами, — сказал Касл, — особенно как мы обращаемся с ними, когда они умирают. В Обители Надежды и Милосердия в джунглях мы напутствуем тех, кто пожелает, перед смертью по боконистскому ритуалу.

— А какой это ритуал?

— Очень простой. Умирающий начинает с повторения того, что говорится. Попробуйте повторить за мной.

— Но я еще не так близок к смерти.

Он жутко подмигнул мне:

— Правильно делаете, что осторожничаете. Умирающий, принимая последнее напутствие, от этих слов часто и умирает раньше времени. Но, наверно, мы вас до этого не допустили бы — ведь пятками мы соприкасаться не станем.

— Пятками?

Он объяснил мне теорию Боконона насчет касания пятками.

— Теперь я понимаю, что я видел в отеле. — И я рассказал ему про двух маляров.

— А знаете, это действует, — сказал он. — Люди, которые проделывают эту штуку, на самом деле начинают лучше относиться друг к другу и ко всему на свете.

— Гм-мм…

– *Боко-мару.*

— Простите?

— Так называют эту ножную церемонию, — сказал Касл. — Да, действует. А я радуюсь, когда что-то действует. Не так уж много вещей действует.

— Наверно, нет.

— Мой госпиталь не мог бы работать, не будь аспирина и *боко-мару.*

— Я так понимаю, — сказал я, — что на острове

еще множество боконистов, несмотря на закон, несмотря на «ку-рю-ку».

Он рассмеялся:

— Еще не разобрались?

— В чем это?

— Все до одного на Сан-Лоренцо истинные боконисты, несмотря на «ку-рю-ку».

78. В стальном кольце

— Когда Боконон и Маккэйб много лет назад завладели этой жалкой страной, — продолжал Джулиан Касл, — они выгнали всех попов. И Боконон, шутник и циник, изобрел новую религию.

— Слыхал, — сказал я.

— Ну вот, когда стало ясно, что никакими государственными или экономическими реформами нельзя облегчить жалкую жизнь этого народа, религия стала единственным способом вселить в людей надежду. Правда стала врагом народа, потому что правда была страшной, и Боконон поставил себе цель — давать людям ложь, приукрашивая ее все больше и больше.

— Как же случилось, что он оказался вне закона?

— Это он сам придумал. Он попросил Маккэйба объявить вне закона и его самого, и его учение, чтобы внести в жизнь верующих больше напряженности, больше остроты. Кстати, он написал об этом небольшой стишок.

И Касл прочел стишок, которого нет в *Книгах Бокононa:*

С правительством простился я,
Сказав им откровенно,
Что вера – разновидность
Государственной измены.

— Боконон и крюк придумал как самое подходящее наказание за боконизм, — сказал Касл. — Он видел когда-то такой крюк в комнате пыток в музее мадам Тюссо. — Касл жутко скривился и подмигнул: — Тоже для остроты ощущений.

— И многие погибли на крюке?

— Не с самого начала, не сразу. Сначала было одно притворство. Ловко распускались слухи насчет казней, но на самом деле никто не мог сказать, кого же казнили. Маккэйб немало повеселился, придумывая самые кровожадные угрозы по адресу боконистов, то есть всего народа.

А Боконон уютно скрывался в джунглях, — продолжал Касл, — там писал, проповедовал целыми днями и кормился всякими вкусностями, которые приносила его паства.

Маккэйб собирал безработных, а безработными были практически все, и организовывал огромные облавы на Боконона. Каждые полгода он объявлял торжественно, что Боконон окружен стальным кольцом и кольцо это безжалостно

смыкается.

Но потом командиры этого стального кольца, доведенные горькой неудачей чуть ли не до апоплексического удара, докладывали Маккэйбу, что Боконону удалось невозможное.

Он убежал, он испарился, он остался жив, он снова будет проповедовать. Чудо из чудес!

79. Почему Маккэйб огрубел душой

— Маккэйбу и Боконону не удалось поднять то, что зовется «уровень жизни», — продолжал Касл. — По правде говоря, жизнь осталась такой же короткой, такой же грубой, такой же жалкой. Но люди уже меньше думали об этой страшной правде. Чем больше разрасталась живая легенда о жестоком тиране и кротком святом, скрытом в джунглях, тем счастливее становился народ. Все были заняты одним делом: каждый играл свою роль в спектакле — и любой человек на свете мог этот спектакль понять, мог ему аплодировать.

— Значит, жизнь стала произведением искусства! — восхитился я.

— Да. Но тут возникла одна помеха.

— Какая?

— Вся драма ожесточила души обоих главных актеров — Маккэйба и Боконона. В молодости они очень походили друг на друга, оба были наполовину ангелами, наполовину пиратами.

Но по пьесе требовалось, чтобы пиратская половина Бокононовой души и ангельская поло-

вина души Маккэйба ссохлись и отпали. И оба, Маккэйб и Боконон, заплатили жестокой мукой за счастье народа: Маккэйб познал муки тирана, Боконон — мучения святого. Оба, по существу, спятили, свихнулись.

Касл согнул указательный палец левой руки крючком:

— Вот тут-то людей по-настоящему стали вешать на «ку-рю-ку».

— Но Боконона так и не поймали? — спросил я.

— Нет, у Маккэйба хватило смекалки понять, что без святого подвижника ему не с кем будет воевать и сам он превратится в бессмыслицу. «Папа» Монзано тоже это понимает.

— Неужто люди до сих пор умирают на крюке?

— Это неизбежный исход.

— Нет, я спрашиваю, неужели «Папа» и в самом деле казнит людей таким способом?

— Он казнит кого-нибудь раз в два года — так сказать, чтобы каша не остывала. — Касл вздохнул, поглядел на вечернее небо: — Дела, дела, дела…

— Как?

— Так мы, бокони́сты, говорим, — сказал он, — когда чувствуем, что заваривается что-то таинственное.

— Как, и вы? — Я был потрясен. — Вы тоже боконист?

Он спокойно поднял на меня глаза.

— И вы тоже. Скоро вы это поймете.

80. Водопад в решете

Анджела и Ньют сидели на висячей террасе со мной и Джулианом Каслом. Мы пили коктейли. О Фрэнке не было ни слуху ни духу.

И Анджела и Ньют, по-видимому, любили выпить. Касл сказал мне, что грехи молодости стоили ему одной почки и что он, к несчастью, вынужден ограничиться имбирным элем.

После нескольких бокалов Анджела стала жаловаться, что люди обманули ее отца:

— Он отдал им так много, а они дали ему так мало.

Я стал добиваться — в чем же, например, сказалась эта скупость, и добился точных цифр.

— Всеобщая сталелитейная компания платила ему по сорок пять долларов за каждый патент, полученный по его изобретениям, — сказала Анджела, — и такую же сумму платили за любой патент. — Она грустно покачала головой: — Сорок пять долларов, а только подумать, какие это были патенты!

— Угу, — сказал я. — Но я полагаю, он и жалованье получал.

— Самое большее, что он зарабатывал, — это двадцать восемь тысяч долларов в год.

— Я бы сказал, не так уж плохо.

Она вся вспыхнула:

— А вы знаете, сколько получают кинозвезды?

— Иногда порядочно.

— А вы знаете, что доктор Брид зарабатывал в год на десять тысяч долларов больше, чем отец?

— Это, конечно, большая несправедливость.

— Мне осточертела несправедливость.

Голос у нее стал таким истерически-крикливым, что я сразу переменил тему. Я спросил Джулиана Касла: как он думает, что сталось с картиной Ньюта, брошенной в водопад?

— Там, внизу, есть маленькая деревушка, — сказал мне Касл, — не то пять, не то шесть хижин. Кстати, там родился «Папа» Монзано. Водопад кончается там огромным каменным бассейном. Через узкое горло бассейна, откуда вытекает река, крестьяне протянули частую металлическую сетку. Через нее и процеживается вся вода из водопада.

— Значит, по-вашему, картина Ньюта застряла в этой сетке? — спросил я.

— Страна тут нищая, как вы, может быть, заметили, — сказал Касл. — В сетке ничего не

застревает надолго. Я представляю себе, что картину Ньюта сейчас уже сушат на солнце вместе с окурком моей сигары. Четыре квадратных фута проклеенного холста, четыре обточенные и обтесанные планки от подрамника, может, и пара кнопок да еще сигара. В общем, неплохой улов для какого-нибудь нищего-пренищего человека.

— Просто визжать хочется, — сказала Анджела, — как подумаю, сколько платят разным людям и сколько платили отцу — а сколько он им давал!

Видно было, что сейчас она заплачет.

— Не плачь, — ласково попросил Ньют.

— Трудно удержаться, — сказала она.

— Пойди поиграй на кларнете, — настаивал Ньют. — Это тебе всегда помогает.

Мне показалось, что такой совет довольно смешон. Но по реакции Анджелы я понял, что совет был дан всерьез и пошел ей на пользу.

— В таком настроении, — сказала она мне и Каслу, — только это иногда и помогает.

Но она постеснялась сразу побежать за кларнетом. Мы долго просили ее поиграть, но она сначала выпила еще два стакана.

— Она правда замечательно играет, — пообещал нам Ньют.

— Очень хочется вас послушать, — сказал Касл.

— Хорошо, — сказала Анджела и встала, чуть покачиваясь. — Хорошо, я вам сыграю.

Когда она вышла, Ньют извинился за нее:

— Жизнь у нее тяжелая. Ей нужно отдохнуть.

— Она, должно быть, болела? — спросил я.

— Муж у нее скотина, — сказал Ньют. Видно было, что он люто ненавидит красивого молодого мужа Анджелы, преуспевающего Гаррисона С.ККоннерса, президента компании «ФабриТек». — Никогда дома не бывает, а если явится, то пьяный в доску и весь измазанный губной помадой.

— А мне, по ее словам, показалось, что это очень счастливый брак, — сказал я.

Маленький Ньют расставил ладони на шесть дюймов и растопырил пальцы:

— Кошку видали? Колыбельку видали?

81. Белая невеста для сына проводника спальных вагонов

Я не знал, как прозвучит кларнет Анджелы Хониккер. Никто и вообразить не мог, как он прозвучит.

Я ждал чего-то патологического, но я не ожидал такой глубины, такой силы, той почти невыносимой красоты, которая возникла из этой болезни.

Анджела увлажнила и согрела дыханием мундштук кларнета, не издав ни одного звука. Глаза у нее остекленели, длинные костлявые пальцы перебирали немые клапаны инструмента.

Я ждал с тревогой, вспоминая, что рассказывал мне Марвин Брид: когда Анджеле становилось невыносимо от тяжелой жизни с отцом, она запиралась у себя в комнате и там играла под граммофонную пластинку.

Ньют уже поставил долгоиграющую пластинку на огромный проигрыватель в соседней комнате. Он вернулся и подал мне конверт от пластинки.

Пластинка называлась «Рояль в веселом доме». Это было соло на рояле, играл Мид Люкс Льюис.

Пока Анджела, как бы впадая в транс, дала

Льюису сыграть первый номер соло, я успел прочесть то, что стояло на обложке. «Родился в Луисвилле, штат Кентукки, в 1905 г., — читал я. — Мистер Льюис не занимался музыкой до 16 лет, а потом отец купил ему скрипку. Через год юный Льюис услышал знаменитого пианиста Джимми Янси. «Это, — вспоминает Льюис, — и было то, что надо». Вскоре, — читал я дальше, — Льюис стал играть на рояле буги-вуги, стараясь взять от своего старшего товарища Янси все, что возможно, — тот до самой своей смерти оставался ближайшим другом и кумиром мистера Льюиса. Так как Льюис был сыном проводника пульмановских вагонов, — читал я дальше, — то семья Льюисов жила возле железной дороги. Ритм поездов вошел в плоть и кровь юного Льюиса. И вскоре он сочинил блюз для рояля в ритме буги-вуги, ставший уже классическим в своем роде, под названием «Тук-тук-тук вагончики».

Я поднял голову. Первый номер пластинки уже кончился, игла медленно прокладывала себе дорожку к следующему номеру. Как я прочел на обложке, следующий назывался «Блюз «Дракон».

Мид Люкс Льюис сыграл первые такты соло — и тут вступила Анджела Хониккер.

Глаза у нее закрылись.

Я был потрясен.

Она играла блестяще.

Она импровизировала под музыку сына проводника; она переходила от ласковой лирики и хриплой страсти к звенящим вскрикам испуганного ребенка, к бреду наркомана. Ее переходы, глиссандо, вели из рая в ад через все, что лежит между ними.

Так играть могла только шизофреничка или одержимая.

Волосы у меня встали дыбом, как будто Анджела каталась по полу с пеной у рта и бегло болтала по-древневавилонски.

Когда музыка оборвалась, я закричал Джулиану Каслу, тоже пронзенному этими звуками:

— Господи, вот вам жизнь! Да разве ее хоть чуточку поймешь?

— А вы и не старайтесь, — сказал Касл. — Просто сделайте вид, что вы все понимаете.

— Это очень хороший совет. — Я сразу обмяк. И Касл процитировал еще один стишок:

Тигру надо жрать,
Порхать – пичужкам всем,
А человеку – спрашивать:
«Зачем, зачем, зачем?»

Но тиграм время спать,
Птенцам – лететь обратно,
А человеку – утверждать,
Что все ему понятно.

— Это откуда же? — спросил я.

— Откуда же, как не из *Книг Боконона.*

— Очень хотелось бы достать экземпляр.

— Их нигде не достать, — сказал Касл. — Книги не печатались. Их переписывают от руки. И, конечно, законченного экземпляра вообще не существует, потому что Боконон каждый день добавляет еще что-то.

Маленький Ньют фыркнул:

— Религия!

— Простите? — сказал Касл.

— Кошку видали? Колыбельку видали?

82. За-ма-ки-бо

Генерал-майор Фрэнклин Хониккер к ужину не явился. Он позвонил по телефону и настаивал, чтобы с ним поговорил я, и никто другой. Он сказал мне, что дежурит у постели «Папы» и что «Папа» умирает в страшных муках. Голос Фрэнка звучал испуганно и одиноко.

— Слушайте, — сказал я, — а почему бы мне не вернуться в отель, а потом, когда все кончится, мы с вами могли бы встретиться.

— Нет, нет, нет. Не уходите никуда. Надо, чтобы вы были там, где я сразу смогу вас поймать. — Видно было, что он ужасно боится выпустить меня из рук. И оттого, что мне было непонятно, почему он так интересуется мной, мне тоже стало жутковато.

— А вы не можете объяснить, зачем вам надо меня видеть? — спросил я.

— Только не по телефону.

— Это насчет вашего отца?

— Насчет вас.

— Насчет того, что я сделал?

— Насчет того, что вам надо сделать.

Я услышал, как где-то там, у Фрэнка, закудахтала курица. Услышал, как там открылись двери и откуда-то донеслась музыка — заиграли на ксилофоне. Опять играли «На склоне дня». Потом двери закрылись, и музыки я больше не слыхал.

— Я был бы очень благодарен, если бы вы мне хоть намекнули, чего вы от меня ждете, надо же мне как-то подготовиться, — сказал я.

– *За-ма-ки-бо.*

— Что такое?

— Это боконистское слово.

— Никаких боконистских слов я не знаю.

— Джулиан Касл там?

— Да.

— Спросите его, — сказал Фрэнк. — Мне надо идти. — И он повесил трубку.

Тогда я спросил Джулиана Касла, что значит *за-ма-ки-бо.*

— Хотите простой ответ или подробное разъяснение?

— Давайте начнем с простого.

— Судьба, — сказал он. — Неумолимый рок.

83. Доктор Шлихтер фон Кениг-свальд приближается к точке равновесия

— Рак, — сказал Джулиан Касл, когда я ему сообщил, что «Папа» умирает в мучениях.

— Рак чего?

— Чуть ли не всего. Вы сказали, что он упал в обморок на трибуне?

— Ну конечно, — сказала Анджела.

— Это от наркотиков, — заявил Касл. — Он сейчас дошел до той точки, когда наркотики и боли примерно уравновешиваются. Увеличить долю наркотиков — значит убить его.

— Наверно, я когда-нибудь покончу с собой, — пробормотал Ньют. Он сидел на чем-то вроде высокого складного кресла, которое он брал с собой в гости. Кресло было сделано из алюминиевых трубок и парусины. — Лучше, чем подкладывать словарь, атлас и телефонный справочник, — сказал Ньют, расставляя кресло.

— А капрал Маккэйб так и сделал, — сказал Касл. — Назначил своего дворецкого себе в преемники и застрелился.

— Тоже рак? — спросил я.

— Не уверен. Скорее всего нет. По-моему, он просто извелся от бесчисленных злодеяний. Впрочем, все это было до меня.

— До чего веселый разговор! — сказала Анджела.

— Думаю, все согласятся, что время сейчас веселое, — сказал Касл.

— Знаете что, — сказал я ему, — по-моему, у вас есть больше оснований веселиться, чем у кого бы то ни было, вы столько добра делаете.

— Знаете, а у меня когда-то была своя яхта.

— При чем тут это?

— У владельца яхты тоже больше оснований веселиться, чем у многих других.

— Кто же лечит «Папу», если не вы? — спросил я.

— Один из моих врачей, некий доктор Шлихтер фон Кенигсвальд.

— Немец?

— Вроде того. Он четырнадцать лет служил в эсэсовских частях. Шесть лет он был лагерным врачом в Освенциме.

— Искупает, что ли, свою вину в Обители Надежды и Милосердия?

— Да, — сказал Касл. — И делает большие успе-

хи, спасает жизнь направо и налево.

— Молодец.

— Да, — сказал Касл. — Если он будет продолжать такими темпами, то число спасенных им людей сравняется с числом убитых им же примерно к три тысячи десятому году.

Так в мой *карасе* вошел еще один человек, доктор Шлихтер фон Кенигсвальд.

84. Затемнение

Прошло три часа после ужина, а Фрэнк все еще не вернулся. Джулиан Касл попрощался с нами и ушел в Обитель Надежды и Милосердия.

Анджела, Ньют и я сидели на висячей террасе. Мягко светились внизу огни Боливара. Над административным зданием аэропорта Монзано высился огромный сияющий крест. Его медленно вращал какой-то механизм, распространяя электрифицированную благодать на все четыре стороны света.

На северной стороне острова находилось еще несколько ярко освещенных мест. Но горы заслоняли все, и только отсвет озарял небо. Я попросил Стэнли, дворецкого Фрэнка, объяснить мне, откуда идет это зарево.

Он назвал источник света, водя пальцем против часовой стрелки:

— Обитель Надежды и Милосердия в джунг-лях, дворец «Папы» и форт Иисус.

— Форт Иисус?

— Учебный лагерь для наших солдат.

— И его назвали в честь Иисуса Христа?

— Конечно. А что тут такого?

Новые клубы света озарили небо на северной стороне. Прежде чем я успел спросить, откуда идет свет, оказалось, что это фары машин, еще скрытых горами. Свет фар приближался к нам.

Это подъезжал патруль.

Патруль состоял из пяти американских грузовиков армейского образца. Пулеметчики стояли наготове у своих орудий.

Патруль остановился у въезда в поместье Фрэнка. Солдаты сразу спрыгнули с машин. Они тут же взялись за работу, копая в саду гнезда для пулеметов и небольшие окопчики. Я вышел вместе с дворецким Фрэнка узнать, что происходит.

— Приказано охранять будущего президента Сан-Лоренцо, — сказал офицер на местном диалекте.

— А его тут нет, — сообщил я ему.

— Ничего не знаю, — сказал он. — Приказано окопаться тут. Вот все, что мне известно.

Я сообщил об этом Анджеле и Ньюту.

— Как, по-вашему, ему действительно грозит опасность? — спросила меня Анджела.

— Я здесь человек посторонний, — сказал я. В эту минуту испортилось электричество. Во всем Сан-Лоренцо погас свет.

85. Сплошная фома

Слуги Фрэнка принесли керосиновые фонари, сказали, что в Сан-Лоренцо электричество портится очень часто и что тревожиться нечего. Однако мне было трудно подавить беспокойство, потому что Фрэнк говорил мне про мою *за-маки-бо*.

Оттого у меня и появилось такое чувство, словно моя собственная воля значила ничуть не больше, чем воля поросенка, привезенного на чикагские бойни.

Мне снова вспомнился мраморный ангел в Илиуме.

И я стал прислушиваться к солдатам в саду, их стуку, звяканью и бормотанью.

Мне было трудно сосредоточиться и слушать Анджелу и Ньюта, хотя они рассказывали довольно интересные вещи. Они рассказывали, что у их отца был брат-близнец. Но они никогда его не видели. Звали его Рудольф. В последний раз они слышали, будто у него мастерская музыкальных шкатулок в Швейцарии, в Цюрихе.

— Отец никогда о нем не вспоминал, — сказала

Анджела.

— Отец почти никогда ни о ком не вспоминал, — сказал Ньют.

Как они мне рассказали, у старика еще была сестра. Ее звали Селия. Она разводила ризеншнауцеров на Шелтер-Айленде, в штате Нью-Йорк.

— До сих пор посылает нам открытки к Рождеству, — сказала Анджела.

— С изображением ризеншнауцера, — сказал маленький Ньют.

— Правда, странно, какая разная судьба у разных людей в одной семье? — заметила Анджела.

— Очень верно, очень точно сказано, — подтвердил я. И, извинившись перед блестящим обществом, спросил у Стэнли, дворецкого Фрэнка, нет ли у них в доме экземпляра *Книг Боконона.*

Сначала Стэнли сделал вид, что не понимает, о чем я говорю.

Потом проворчал, что *Книги Боконона* — гадость. Потом стал утверждать, что всякого, кто читает Боконона, надо повесить на крюке. А потом принес экземпляр книги с ночной тумбочки Фрэнка.

Это был тяжелый том весом с большой словарь. Он был переписан от руки. Я унес книгу в свою спальню, на свою каменную лежанку с пороло-

новым матрасом.

Оглавления в книге не было, так что искать значение слова *за-ма-ки-бо* было трудно, и в тот вечер я так его и не нашел.

Кое-что я все же узнал, но мне это мало помогло. Например, я познакомился с бокононовской космогонией, где *Борасизи* — Солнце обнимал *Пабу* — Луну в надежде, что Пабу родит ему огненного младенца.

Но бедная Пабу рожала только холодных младенцев, не дававших тепла, и *Борасизи* с отвращением их выбрасывал. Из них и вышли планеты, закружившиеся вокруг своего грозного родителя на почтительном расстоянии.

А вскоре несчастную Пабу тоже выгнали, и она ушла жить к своей любимой дочке — Земле. Земля была любимицей Луны — *Пабу*, — потому что на Земле жили люди, они смотрели на *Пабу*, любовались ею, жалели ее.

Что же думал сам Боконон о своей космогонии?

– *Фома!* Ложь, — писал он. — Сплошная *фома*!

86. Два маленьких термоса

Трудно поверить, что я уснул, но все же я, наверно, поспал — иначе как могли бы меня разбудить грохот и потоки света?

Я скатился с кровати от первого же раската и ринулся в недра дома с безмозглым рвением пожарного-добровольца.

И тут же наткнулся на Анджелу и Ньюта, которые тоже выскочили из постелей.

Мы с ходу остановились, тупо вслушиваясь в кошмарный лязг и постепенно различая звук радио, шум электрической мойки для посуды, шум насоса; все это вернул к жизни включенный электрический ток.

Мы все трое уже настолько проснулись, что могли понять весь комизм нашего положения, понять, что мы реагировали до смешного по-человечески на вполне безобидное явление, приняв его за смертельную опасность. И чтобы показать свою власть над судьбой, я выключил радио.

Мы все трое рассмеялись.

И тут мы наперебой, спасая свое человеческое достоинство, поспешили показать себя самыми

лучшими знатоками человеческих слабостей с самым большим чувством юмора.

Ньют опередил нас всех: он сразу заметил, что у меня в руках паспорт, бумажник и наручные часы. Я даже не представлял себе, что именно я схватил перед лицом смерти, да и вообще не знал, когда я все это ухватил.

Я с восторгом отпарировал удар, спросив Анджелу и Ньюта, зачем они оба держат маленькие термосы, одинаковые, серые с красным термосики, чашки на три кофе.

Для них самих это было неожиданностью. Они были поражены, увидев термосы у себя в руках.

Но им не пришлось давать объяснения, потому что на дворе раздался страшный грохот. Мне поручили тут же узнать, что там грохочет, и с мужеством, столь же необоснованным, как первый испуг, я пошел в разведку и увидел Фрэнка Хониккера, который возился с электрическим генератором, поставленным на грузовик.

От генератора и шел ток для нашего дома. Мотор, двигавший его, стрелял и дымил, Фрэнк пытался его наладить.

Рядом с ним стояла божественная Мона. Она смотрела, что он делает, серьезно и спокойно, как всегда.

— Слушайте, ну и новость я вам скажу! — закричал мне Фрэнк и пошел в дом, а мы — за ним.

Анджела и Ньют все еще стояли в гостиной, но каким-то образом они куда-то успели спрятать те маленькие термосы.

А в этих термосах, конечно, была часть наследства доктора Феликса Хониккера, часть *вампитера* для моего *карасса* — кусочки *льда-девятъ*.

Фрэнк отвел меня в сторону:

— Вы совсем проснулись?

— Как будто и не спал.

— Нет, правда, я надеюсь, что вы окончательно проснулись, потому что нам сейчас же надо поговорить.

— Я вас слушаю.

— Давайте отойдем. — Фрэнк попросил Мону чувствовать себя как дома. — Мы позовем тебя, когда понадобится.

Я посмотрел на Мону и подумал, что никогда в жизни я ни к кому так не стремился, как сейчас к ней.

87. Я – свой в доску

Фрэнк Хониккер, похожий на изголодавшегося мальчишку, говорил со мной растерянно и путано, и голос у него срывался, как игрушечная пастушья дудка. Когда-то, в армии, я слышал выражение: разговаривает, будто у него кишка бумажная. Вот так и разговаривал генерал-майор Хониккер. Бедный Фрэнк совершенно не привык говорить с людьми, потому что все детство скрытничал, разыгрывая тайного агента Икс-9.

Теперь, стараясь говорить со мной душевно, по-свойски, он непрестанно вставлял заезженные фразы, вроде «вы же свой в доску» или «поговорим без дураков, как мужчина с мужчиной».

И он отвел меня в свою, как он сказал, «берлогу», чтобы там «назвать кошку кошкой», а потом «пуститься по воле волн».

И мы сошли по ступенькам, высеченным в скале, и попали в естественную пещеру, над которой шумел водопад. Там стояло несколько чертежных столов, три светлых голых шведских кресла, книжный шкаф с монографиями по архитектуре на немецком, французском, финском, итальян-

ском и английском языках.

Все было залито электрическим светом, пульсировавшим в такт задыхающемуся генератору.

Но самым потрясающим в этой пещере были картины, написанные на стенах с непринужденностью пятилетнего ребенка, написанные беспримесным цветом — глина, земля, уголь — первобытного человека. Мне не пришлось спрашивать Фрэнка, древние ли это рисунки. Я легко определил период по теме картин. Не мамонты, не саблезубые тигры и не пещерные медведи были изображены на них.

На всех картинах без конца повторялся облик Моны Эймонс Монзано в раннем детстве.

— Значит, тут... тут и работал отец Моны? — спросил я.

— Да, конечно. Он тот самый финн, который построил Обитель Надежды и Милосердия в джунглях.

— Знаю.

— Но я привел вас сюда не для разговора о нем.

— Вы хотите поговорить о вашем отце?

— Нет, о вас. — Фрэнк положил мне руку на плечо и посмотрел прямо в глаза. Впечатление было ужасное. Фрэнк хотел выразить дружеские чувства, но мне показалось, что он похож на ди-

ковинного совенка, ослепленного ярким светом и вспорхнувшего на высокий белый столб.

— Ну, выкладывайте все сразу.

— Да, юлить нечего, — сказал он. — Я в людях разбираюсь, сами понимаете, а вы — свой в доску.

— Спасибо.

— По-моему, мы с вами поладим.

— Не сомневаюсь.

— У нас обоих есть за что зацепиться.

Я обрадовался, когда он снял руку с моего плеча. Он сцепил пальцы обеих рук, как зубцы передачи. Должно быть, одна рука изображала меня, а другая — его самого.

— Мы нужны друг другу. — И он пошевелил пальцами, изображая взаимодействие передачи.

Я промолчал, хотя сделал дружественную мину.

— Вы меня поняли? — спросил Фрэнк.

— Вы и я, мы с вами что-то должны сделать вместе, так?

— Правильно! — Фрэнк захлопал в ладоши. — Вы человек светский, привыкли выходить на публику, а я технарь, привык работать за кулисами, пускать в ход всякую механику.

— Почем вы знаете, что я за человек? Ведь мы

только что познакомились.

— По вашей одежде, по разговору. — Он снова положил мне руку на плечо. — Вы — свой в доску.

— Вы уже это говорили.

Фрэнку до безумия хотелось, чтобы я сам довел до конца его мысль и пришел в восторг. Но я все еще не понимал, к чему он клонит.

— Как я понимаю, вы… вы предлагаете мне какую-то должность здесь, на Сан-Лоренцо?

Он опять захлопал в ладоши. Он был в восторге:

— Правильно. Что вы скажете о ста тысячах долларов в год?

— Черт подери! — воскликнул я. — А что мне придется делать?

— Фактически ничего. Будете пить каждый вечер из золотых бокалов, есть на золотых тарелках, жить в собственном дворце.

— Что же это за должность?

— Президент республики Сан-Лоренцо.

88. Почему Фрэнк не может быть президентом

— Мне? Стать президентом? — ахнул я.

— А кому же еще?

— Чушь!

— Не отказывайтесь, сначала хорошенько подумайте! — Фрэнк смотрел на меня с тревогой.

— Нет! Нет!

— Вы же не успели подумать!

— Я успел понять, что это бред.

Фрэнк снова сцепил пальцы:

— Мы работали бы вместе. Я бы вас всегда поддерживал.

— Отлично. Значит, если я схлопочу пулю, вы тоже схлопочете пулю?

— Схлопочу пулю?

— Ну, пристрелят. Убьют.

Фрэнк был огорошен:

— А кому понадобится вас убивать?

— Тому, кто захочет стать президентом Сан-Лоренцо.

Фрэнк покачал головой.

— Никто в Сан-Лоренцо не хочет стать пре-

зидентом, — утешил он меня. — Это против их религии.

— И против вашей тоже? Я думал, что вы станете тут президентом.

— Я… — сказал он и запнулся. Вид у него был несчастный.

— Что вы? — спросил я.

Он повернулся к пелене воды, занавесившей пещеру.

— Зрелость, как я понимаю, — начал он, — это способность осознавать предел своих возможностей.

Он был близок к бокононовскому определению зрелости. «Зрелость, — учит нас Боконон, — это горькое разочарование, и ничем его не излечить, если только смех не считать лекарством от всего на свете».

— Я свою ограниченность понимаю, — сказал Фрэнк. — Мой отец страдал от того же.

— Вот как?

— Замыслов, и очень хороших, у меня много, как было и у отца, — доверительно сообщил мне и водопаду Фрэнк, — но он не умел общаться с людьми, и я тоже не умею.

89. Пуфф...

— Ну как, возьмете это место? — взволнованно спросил Фрэнк.

— Нет, — сказал я.

— А не знаете, кто бы за это взялся?

Фрэнк был классическим примером того, что Боконон зовет *пуффф...* А *пуффф* в бокононовском смысле означает судьбу тысячи людей, доверенную *дурре.* А *дурра* — значит ребенок, заблудившийся в тумане. Я расхохотался.

— Вам смешно?

— Не обращайте внимания, если я вдруг начинаю смеяться, — попросил я. — Это у меня такой бзик.

— Вы надо мной смеетесь?

Я потряс головой:

— Нет!

— Честное слово?

— Честное слово.

— Надо мной вечно все смеялись.

— Наверно, вам просто казалось.

— Нет, мне вслед кричали всякие слова, а уж это мне не могло казаться.

— Иногда ребята выкидывают гадкие шутки, но без всякого злого умысла, — сказал я ему. Впрочем, поручиться за это я не мог бы.

— А знаете, что они мне кричали вслед?

— Нет.

— Они кричали: «Эй, Икс-девять, ты куда?»

— Ну, тут ничего плохого нет.

— Они меня так дразнили. — Фрэнк помрачнел при этом воспоминании: — «Тайный агент Икс-девять».

Я не сказал ему, что уже слышал об этом.

— «Ты куда, Икс-девять?» — снова повторил Фрэнк.

Я представил себе этих задир, представил себе, куда их теперь загнала, заткнула судьба. Остряки, оравшие на Фрэнка, теперь наверняка занимали смертельно скучные места в сталелитейной компании, на электростанции в Илиуме, в правлении телефонной компании…

А тут, предо мной, честью клянусь, стоял тайный агент Икс-9, к тому же генерал-майор, и предлагал мне стать королем… Тут, в пещере, занавешенной тропическим водопадом.

— Они бы здорово удивились, скажи я им, куда я иду.

— Вы хотите сказать, что у вас было предчув-

ствие, до чего вы дойдете? — Мой вопрос был бокононовским вопросом.

— Нет, я просто шел в «Уголок любителя» к Джеку, — сказал он, отведя мой вопрос.

— И только-то?

— Они все знали, что я туда иду, но не знали, что там делалось. Они бы не на шутку удивились — особенно девчонки, — если бы знали, что там на самом деле происходит. Девчонки считали, что я в этих делах ничего не понимаю.

— А что же там на самом деле происходило?

— Я путался с женой Джека все ночи напролет. Вот почему я вечно засыпал в школе. Вот почему я так ничего и не добился при всех своих способностях.

Он стряхнул с себя эти мрачные воспоминания:

— Слушайте. Будьте президентом Сан-Лоренцо. Ей-богу, при ваших данных вы здорово подойдете. Ну, пожалуйста!

90. Единственная загвоздка

И ночной час, и пещера, и водопад, и мраморный ангел в Илиуме…

И 250 тысяч сигарет, и три тысячи литров спиртного, и две жены, и ни одной жены…

И нигде не ждет меня любовь…

И унылая жизнь чернильной крысы…

И *Лабу* — Луна, и *Борасизи* — Солнце, и их дети.

Все как будто сговорились создать единый космический рок — *вин-дит,* один мощный толчок к боконизму, к вере в то, что Творец ведет мою жизнь и что он нашел для меня дело.

И я внутренне *саронгировал,* то есть поддался кажущимся требованиям моего *вин-дита.*

И мысленно я уже согласился стать президентом Сан-Лоренцо.

Внешне же я все еще был настороже и полон подозрений.

— Но, наверно, тут есть какая-то загвоздка, — настаивал я.

— Нет.

— А выборы будут?

— Никаких выборов никогда не было. Мы про-

сто объявим, кто стал президентом.

— И никто возражать не станет?

— Никто ни на что не возражает. Им безразлично. Им все равно.

— Но должна же быть какая-то загвоздка.

— Да, что-то в этом роде есть, — сознался Фрэнк.

— Так я и знал! — Я уже открещивался от своего *вин-дита.* — Что именно? В чем загвоздка?

— Да нет, в сущности, никакой загвоздки нет, если не захотите, можете отказаться. Но было бы очень здорово…

— Что было бы «очень здорово»?

— Видите ли, если вы станете президентом, то хорошо было бы вам жениться на Моне. Но вас никто не заставляет, если вы не хотите. Тут вы хозяин.

— И она пошла бы за меня?!

— Раз она хотела выйти за меня, то и за вас выйдет. Вам остается только спросить ее.

— Но почему она непременно скажет «да»?

— Потому что в *Книгах Боконона* предсказано, что она выйдет замуж за следующего президента Сан-Лоренцо, — сказал Фрэнк.

91. Мона

Фрэнк привел Мону в пещеру ее отца и оставил нас вдвоем.

Сначала нам трудно было разговаривать. Я оробел.

Платье на ней просвечивало. Платье на ней голубело. Это было простое платье, слегка схваченное у талии тончайшим шнуром. Все остальное была сама Мона. «Перси ее как плоды граната», или как это там сказано, но на самом деле просто юная женская грудь.

Обнаженные ноги. Ничего, кроме прелестно отполированных ноготков и тоненьких золотых сандалий.

— Как… как вы себя чувствуете? — спросил я. Сердце мое бешено колотилось. В ушах стучала кровь.

— Ошибку сделать невозможно, — уверила она меня.

Я не знал, что боконисты обычно приветствуют этими словами оробевшего человека. И я в ответ начал с жаром обсуждать, можно сделать ошибку или нет.

— О Господи, вы и не представляете себе, сколько ошибок я уже наделал. Перед вами — чемпион мира по ошибкам, — лопотал я. — А вы знаете, что Фрэнк сейчас сказал мне?

— Про *меня?*

— Про все, но *особенно* про вас.

— Он сказал, что я буду вашей, если вы захотите?

— Да.

— Это правда.

— Я… Я… Я…

— Что?

— Не знаю, что сказать…

– *Боко-мару* поможет, — предложила она.

— Как?

— Снимайте башмаки! — скомандовала она. И с непередаваемой грацией она сбросила сандалии.

Я человек поживший, и, по моему подсчету, я знал чуть ли не полсотни женщин. Могу сказать, что видел в любых вариантах, как женщина раздевается. Я видел, как раздвигается занавес перед финальной сценой.

И все же та единственная женщина, которая невольно заставила меня застонать, только сняла сандалии.

Я попытался развязать шнурки на ботинках. Ху-

же меня никто из женихов не запутывался. Один башмак я снял, но другой затянул еще крепче.

Я сломал ноготь об узел и в конце концов стянул башмак не развязывая.

Потом я сорвал с себя носки.

Мона уже сидела, вытянув ноги, опираясь округлыми руками на пол сзади себя, откинув голову, закрыв глаза.

И я должен был совершить впервые… впервые, в первый раз… Господи Боже мой…

Боко-мару.

92. Поэт воспевает свое первое боко-мару

Это сочинил не Боконон.
Это сочинил я.

Светлый призрак,
Невидимый дух – чего?
Это я,
Душа моя.
Дух, томимый любовью…
Давно
Одинокий…
Так давно…
Встретишь ли душу другую,
Родную?
Долго вел я тебя,
Душа моя,
Ложным путем
К встрече
Двух душ.
И вот душа

Ушла в пятки.
Теперь
Все в порядке.
Светлую душу другую
Нежно люблю,
Целую…
М-мм-ммм-мммм-ммм.

93. Как я чуть не потерял мою Мону

— Теперь тебе легче говорить со мной? — спросила Мона.

— Будто мы с тобой тысячу лет знакомы, — сознался я. Мне хотелось плакать. — Люблю тебя, Мона!

— И я люблю тебя. — Она сказала эти слова совсем просто.

— Ну и дурак этот Фрэнк.

— Почему?

— Отказался от тебя.

— Он меня не любил. Он собирался на мне жениться, потому что «Папа» так захотел. Он любит другую.

— Кого?

— Одну женщину в Илиуме.

Этой счастливицей, наверно, была жена Джека, владельца «Уголка любителя».

— Он сам тебе сказал?

— Сказал сегодня, когда вернул мне слово, и сказал, чтобы я вышла за тебя.

— Мона…

— Да?

— У тебя… у тебя есть еще кто-нибудь?

Мона очень удивилась.

— Да. Много, — сказала она наконец.

— Ты любишь многих?

— Я всех люблю.

— Как… Так же, как меня?

— Да. — Она как будто и не подозревала, что это меня заденет.

Я встал с пола, сел в кресло и начал надевать носки и башмаки.

— И ты, наверно… ты выполняешь… ты делаешь то, что мы сейчас делали… с теми… с другими?

– *Боко-мару?*

– *Боко-мару.*

— Конечно.

— С сегодняшнего дня ты больше ни с кем, кроме меня, этого делать не будешь, — заявил я.

Слезы навернулись у нее на глаза. Видно, ей нравилась эта распущенность, видно, ее рассердило, что я хотел пристыдить ее.

— Но я даю людям радость. Любовь — это хорошо, а не плохо.

— Но мне, как твоему мужу, нужна вся твоя любовь.

Она испуганно уставилась на меня:

— Ты — *син-ват.*

— Что ты сказала?

— Ты — *син-ват*! — крикнула она. — Человек, который хочет забрать себе чью-то любовь всю, целиком. Это очень плохо!

— Но для брака это очень хорошо. Это единственное, что нужно.

Она все еще сидела на полу, а я, уже в носках и башмаках, стоял над ней. Я чувствовал себя очень высоким, хотя я не такой уж высокий, и очень сильным, хотя я и не так уж силен. И я с уважением, как к чужому, прислушивался к своему голосу.

Мой голос приобрел металлическую властность, которой раньше не было.

И, слушая свой назидательный тон, я вдруг понял, что со мной происходит. Я уже стал властвовать.

Я сказал Моне, что видел, как она предавалась, так сказать, вертикальному *боко-мару с* летчиком в день моего приезда на трибуне.

— Больше ты с ним встречаться не должна, — сказал я ей. — Как его зовут?

— Я даже не знаю, — прошептала она. Она опустила глаза.

— А с молодым Филиппом Каслом?

— Ты про *боко-мару!*

— И про это, и про все вообще. Как я понял, вы вместе выросли?

— Да.

— Боконон учил вас обоих?

— Да. — При этом воспоминании она снова просветлела.

— И в те дни вы *боко-марничали* вовсю?

— О да! — счастливым голосом сказала она.

— Больше ты с ним тоже не должна видеться. Тебе ясно?

— Нет.

— Нет?

— Я не выйду замуж за *син-вата.* — Она встала. — Прощай!

— Как это «прощай»? — Я был потрясен.

— Боконон учит нас, что очень нехорошо не любить всех одинаково. А *твоя* религия чему учит?

— У… У меня нет религии.

— А у меня есть!

Тут моя власть кончилась.

— Вижу, что есть, — сказал я.

— Прощай, человек без религии. — Она пошла к каменной лестнице.

— Мона!

Она остановилась:

— Что?
— Могу я принять твою веру, если захочу?
— Конечно.
— Я очень хочу.
— Прекрасно. Я тебя люблю.
— А я люблю тебя, — вздохнул я.

94. Самая высокая гора

Так я обручился на заре с прекраснейшей женщиной в мире.

Так я согласился стать следующим президентом Сан-Лоренцо.

«Папа» еще не умер, и, по мнению Фрэнка, мне надо было бы, если возможно, получить благословение «Папы». И когда взошло солнце — *Борасизи,* мы с Фрэнком поехали во дворец «Папы» на джипе, реквизированном у войска, охранявшего будущего президента.

Мона осталась в доме у Фрэнка. Я поцеловал ее, благословляя, и она уснула благословенным сном.

И мы с Фрэнком поехали за горы, сквозь заросли кофейных деревьев, и справа от нас пламенела утренняя заря.

В свете этой зари мне и явилось Левиафаново величие самой высокой горы острова — горы Маккэйб.

Она выгибалась, словно горбатый синий кит, с страшным диковинным каменным столбом вместо вершины.

По величине кита этот столб казался обломком застрявшего гарпуна и таким чужеродным, что я спросил Фрэнка, не человечьи ли руки воздвигли этот столб.

Он сказал мне, что это естественное образование. Более того, он добавил, что ни один человек, насколько ему известно, никогда не бывал на вершине горы Маккэйб.

— А с виду туда не так уж трудно добраться, — добавил я. Если не считать каменного столба на вершине, гора казалась не более трудной для восхождения, чем лестница какой-нибудь ратуши. Да и сам каменный вырост, по крайней мере так казалось издали, был прорезан удобными выступами и впадинами.

— Священная она, эта гора, что ли? — спросил я.

— Может, когда-нибудь и считалась священной. Но после Боконона — нет.

— Почему же никто на нее не восходил?

— Никому не хотелось.

— Может, я туда полезу.

— Валяйте. Никто вас не держит.

Мы ехали молча.

— Но что вообще священно для боконистов? — помолчав, спросил я.

— Во всяком случае, насколько я знаю, даже не Бог.

— Значит, ничего?

— Только одно.

Я попробовал угадать:

— Океан? Солнце?

— Человек, — сказал Фрэнк. — Вот и все. Просто человек.

95. Я вижу крюк

Наконец мы подъехали к замку. Он был приземистый, черный, страшный.

Старинные пушки все еще торчали в амбразурах. Плющ и птичьи гнезда забили и амбразуры, и арбалетные пролеты, и зубцы.

Парапет северной стороны нависал над обрывом чудовищной пропасти в шестьсот футов глубиной, падавшим прямо в тепловатое море.

При виде замка возникал тот же вопрос, что и при виде всех таких каменных громад: как могли крохотные человечки двигать такие гигантские камни?

И, подобно всем таким громадам, эта скала сама отвечала на вопрос: слепой страх двигал этими гигантскими камнями.

Замок был выстроен по желанию Тум-Бумвы, императора Сан-Лоренцо, беглого раба, психически больного человека. Говорили, что Тум-Бумва строил его по картинке из детской книжки.

Мрачноватая, наверно, была книжица. Перед воротами замка проезжая дорога вела под грубо сколоченную арку из двух телеграфных столбов

с перекладиной.

С перекладины свисал огромный железный крюк. На крюке была выбита надпись.

«Этот крюк, — гласила надпись, — предназначен для Боконона лично».

Я обернулся, еще раз взглянул на крюк, и эта острая железная штука навела меня на простую мысль: если я и вправду буду тут править, я этот крюк сорву!

И я польстился на эту мысль, подумал, что стану твердым, справедливым и добрым правителем и что мой народ будет процветать.

Фата-моргана.

Мираж!

96. Колокольчик, книга и курица в картоне

Мы с Фрэнком не сразу попали к «Папе». Его лейб-медик, доктор Шлихтер фон Кенигсвальд, проворчал, что надо с полчаса подождать.

И мы с Фрэнком остались ждать в приемной «Папиных» покоев, большой комнате без окон. В ней было тридцать квадратных метров, обстановка состояла из простых скамей и ломберного столика. На столике стоял электрический вентилятор.

Стены были каменные. Ни картин, ни других украшений на стенах не было.

Однако в стену были вделаны железные кольца, на высоте семи футов от пола и на расстоянии футов шесть друг от друга.

Я спросил Фрэнка, не было ли тут раньше застенка для пыток.

Фрэнк сказал: да, был, и люк, на крышке которого я стою, ведет в каменный мешок.

В приемной стоял неподвижный часовой. Тут же находился священник, который был готов по христианскому обряду подать «Папе» духов-

ную помощь. Около себя на скамье он разложил медный колокольчик для прислуги, продырявленную шляпную картонку, Библию и нож мясника.

Он сказал мне, что в картонке сидит живая курица. Курица сидит смирно, сказал он, потому что он напоил ее успокоительным лекарством.

Как всем жителям Сан-Лоренцо после двадцати пяти лет, ему с виду было лет под шестьдесят. Он сказал мне, что зовут его доктор Вокс Тумана, в честь кнопки органного регистра, которая угодила в его матушку, когда в 1923 году в Сан-Лоренцо взорвали собор. Отец, сказал он без стеснения, ему неизвестен.[8]

Я спросил его, к какой именно христианской секте он принадлежит, и откровенно добавил, что и курица и нож, насколько я знаю христианство, для меня в новинку.

— Колокольчик еще можно понять, — добавил я.

Он оказался человеком неглупым. Докторский диплом, который он мне показал, был ему выдан «Университетом Западного полушария по изучению Библии» в городке Литл-Рок в штате

---

[8] Сноски: 8
Vox Humana — человеческий голос *(лат.).*

Арканзас. Он связался с этим университетом через объявление в журнале «Попьюлер механикс», рассказал он мне и добавил, что девиз университета стал и его девизом и что этим объясняется и курица и нож. А девиз звучал так: *«Претвори религию в жизнь!»*

Он сказал, что ему пришлось нащупывать собственный путь в христианстве, так как и католицизм и протестантизм были запрещены вместе с боконизмом.

— И если я в этих условиях хочу остаться христианином, мне приходится придумывать что-то новое.

— Есери хоцу бити киристиани, — сказал он на ихнем диалекте, — пириходица пиридумари чи-тото ново.

Тут из покоев «Папы» к нам вышел доктор Шлихтер фон Кенигсвальд. Вид у него был очень немецкий и очень усталый.

— Можете зайти к «Папе», — сказал он.

— Мы постараемся его не утомлять, — обещал Фрэнк.

— Если бы вы могли его прикончить, — сказал фон Кенигсвальд, — он, по-моему, был бы вам благодарен.

97. Вонючий церковник

«Папа» Монзано в тисках беспощадной болезни возлежал на кровати в виде золотой лодки: руль, уключины, канаты — словом, все-все было вызолочено. Эта кровать была сделана из спасательной шлюпки со старой шхуны Боконона «Туфелька»; на этой спасательной шлюпке в те давние времена и прибыли в Сан-Лоренцо Боконон с капралом Маккэйбом.

Стены спальни были белые. Но «Папа» пылал таким мучительным жаром, что казалось, от его страданий стены накалились докрасна.

Он лежал обнаженный до пояса, с лоснящимся от пота узловатым животом. И живот дрожал, как парус на ветру.

На шее у «Папы» висел тоненький цилиндрик размером с ружейный патрон. Я решил, что в цилиндрике запрятан какой-то волшебный амулет. Но я ошибся. В цилиндрике был осколок *льда-девятъ*.

«Папа» еле-еле мог говорить. Зубы у него стучали, дыхание прерывалось.

Он лежал, мучительно запрокинув голову к

носу шлюпки.

Ксилофон Моны стоял у кровати. Очевидно, накануне вечером она пыталась облегчить музыкой страдания «Папы».

— «Папа», — прошептал Фрэнк.

— Прощай! — прохрипел «Папа», выкатив незрячие глаза.

— Я привел друга.

— Прощай!

— Он станет следующим президентом Сан-Лоренцо. Он будет лучшим президентом, чем я.

— Лед! — простонал «Папа».

— Все просит льда, — сказал фон Кенигсвальд, — а принесут лед, он отказывается.

«Папа» завел глаза. Он повернул шею, стараясь не налегать на затылок всей тяжестью тела. Потом снова выгнул шею.

— Все равно, — начал он, — кто будет президентом…

Он не договорил. Я договорил за него:

— …Сан-Лоренцо.

— Сан-Лоренцо, — повторил он. Он с трудом выдавил кривую улыбку: — Желаю удачи! — прокаркал он.

— Благодарю вас, сэр!

— Не стоит! Боконон! Поймайте Боконона!

Я попытался как-то выкрутиться. Я вспомнил, что, на радость людям, Боконона всегда надо ловить и никогда нельзя поймать.

— Хорошо, — сказал я.

— Скажите ему…

Я наклонился поближе, чтобы услыхать, что именно «Папа» хочет передать Боконону.

— Скажите: жалко, что я его не убил, — сказал «Папа». — Вы убейте его.

— Слушаюсь, сэр.

«Папа» настолько овладел своим голосом, что он зазвучал повелительно:

— Я вам *серьезно* говорю.

На это я ничего не ответил. Никого убивать мне не хотелось.

— Он учит людей *лжи, лжи, лжи*. Убейте его и научите людей правде.

— Слушаюсь, сэр.

— Вы с Хониккером обучите их наукам.

— Хорошо, сэр, непременно, — пообещал я.

— Наука — это колдовство, которое действует. Он замолчал, стих, закрыл глаза. Потом простонал:

— Последнее напутствие!

Фон Кенигсвальд позвал доктора Вокс Туману. Доктор Тумана вынул наркотизированную кури-

цу из картонки и приготовился дать больному последнее напутствие по христианскому обычаю, как он его себе понимал.

«Папа» открыл один глаз.

— Не ты! — оскалился он на доктора. — Убирайся!

— Сэр? — переспросил доктор Тумана.

— Я исповедую боконистскую веру! — просипел «Папа». — Убирайся, вонючий церковник.

98. Последнее напутствие

Так я имел честь присутствовать при последнем напутствии по бококоновскому ритуалу.

Мы попытались найти кого-нибудь среди солдат и дворцовой челяди, кто сознался бы, что он знает эту церемонию и проделает ее над «Папой». Добровольцев не оказалось. Впрочем, это и не удивительно — слишком близко был крюк и каменный мешок.

Тогда доктор фон Кенигсвальд сказал, что придется ему самому взяться за это дело. Никогда раньше он эту церемонию не выполнял, но сто раз видел, как ее выполнял Джулиан Касл.

— А вы тоже бококонист? — спросил я.

— Я согласен с одной мыслью Бококона. Я согласен, что все религии, включая и бококонизм, — сплошная ложь.

— Но вас, как ученого, — спросил я, — не смутит, что придется выполнить такой ритуал?

— Я — прескверный ученый. Я готов проделать что угодно, лишь бы человек почувствовал себя лучше, даже если это ненаучно. Ни один ученый, достойный своего имени, на это не пойдет.

И он залез в золотую шлюпку к «Папе». Он сел на корму. Из-за тесноты ему пришлось сунуть золотой руль под мышку.

Он был обут в сандалии на босу ногу, и он их снял. Потом он откинул одеяло, и оттуда высунулись «Папины» голые ступни. Доктор приложил свои ступни к «Папиным», приняв позу *боко-мару*.

99. «Боса Сосидара Гирину»

— Пок состал клину, — проворковал доктор фон Кенигсвальд.

— Боса сосидара гирину, — повторил «Папа» Монзано.

На самом деле они оба сказали, каждый по-своему: «Бог создал глину». Но я не стану копировать их произношение.

— Богу стало одиноко, — сказал фон Кенигсвальд.

— Богу стало одиноко.

— И Бог сказал комку глины: «Сядь!»

— И Бог сказал комку глины: «Сядь!»

— Взгляни, что я сотворил, — сказал Бог, — взгляни на моря, на небеса, на звезды.

— Взгляни, что я сотворил, — сказал Бог, — взгляни на моря, на небеса, на звезды.

— И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг.

— И я был тем комком, кому повелели сесть и взглянуть вокруг.

— Счастливец я, счастливый комок.

— Счастливец я, счастливый комок. — По лицу

«Папы» текли слезы.

— Я, ком глины, встал и увидел, как чудно поработал Бог!

— Я, ком глины, встал и увидел, как чудно поработал Бог!

— Чудная работа, Бог!

— Чудная работа, Бог, — повторил «Папа» от всего сердца.

— Никто, кроме Тебя, не мог бы это сделать! А уж я и подавно!

— Никто, кроме Тебя, не мог бы это сделать! А уж я и подавно!

— По сравнению с Тобой я чувствую себя ничтожеством.

— По сравнению с Тобой я чувствую себя ничтожеством.

— И, только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я чувствую себя не таким ничтожным.

— И, только взглянув на остальные комки глины, которым не дано было встать и оглянуться вокруг, я чувствую себя не таким ничтожным.

— Мне дано так много, а остальной глине так мало.

— Мне дано так много, а остальной глине так мало.

— Плакотарю тепя со шесть! — воскликнул доктор фон Кенигсвальд.

— Благодару тебя за сести! — просипел «Папа» Монзано.

На самом деле они сказали: «Благодарю тебя за честь!»

— Теперь ком глины снова ложится и засыпает.

— Теперь ком глины снова ложится и засыпает.

— Сколько воспоминаний у этого комка!

— Сколько воспоминаний у этого комка!

— Как интересно было встречать другие комки, восставшие из глины!

— Как интересно было встречать другие комки, восставшие из глины!

— Я любил все, что я видел.

— Я любил все, что я видел.

— Доброй ночи!

— Доброй ночи!

— Теперь я попаду на небо!

— Теперь я попаду на небо!

— Жду не дождусь…

— Жду не дождусь…

— …узнать точно, какой у меня *вампитер*…

— …узнать точно, какой у меня *вампитер*…

— …и кто был в моем *карассе*…

— …и кто был в моем *карассе*…

— …и сколько добра мой *карасс* сделал ради Тебя.

— …и сколько добра мой *карасс* сделал ради Тебя.

— Аминь.

— Аминь.

100. Фрэнк прячется в каменный мешок

Но «Папа» еще не умер и на небо попал не сразу. Я спросил Фрэнка, как бы нам получше выбрать время, чтобы объявить мое восшествие на трон президента. Но он мне ничем не помог, ничего не хотел придумать и все предоставил мне.

— Я думал, вы меня поддержите, — жалобно сказал я.

— Да, во всем, что касается *техники.* — Фрэнк говорил подчеркнуто сухо. Мол, не мне подрывать его профессиональные установки. Не мне навязывать ему другие области работы.

— Понимаю.

— Как вы будете обращаться с народом, мне безразлично — это дело ваше.

Резкий отказ Фрэнка от всякого вмешательства в мои отношения с народом меня обидел и рассердил, и я сказал ему намеренно иронически:

— Не откажите в любезности сообщить мне, какие же чисто технические планы у вас на этот высокоторжественный день.

Ответ я получил чисто технический:

— Устранить неполадки на электростанции и организовать воздушный парад.

— Прекрасно! Значит, первым моим достижением на посту президента будет электрическое освещение для моего народа.

Никакой иронии Фрэнк не почувствовал. Он отдал мне честь:

— Попытаюсь, сэр, сделаю для вас все, что смогу, сэр. Но не могу гарантировать, как скоро удастся получить свет.

— Вот это-то мне и нужно — светлая жизнь.

— Рад стараться, сэр! — Фрэнк снова отдал честь.

— А воздушный парад? — спросил я. — Это что за штука?

Фрэнк снова ответил деревянным голосом:

— В час дня сегодня, сэр, все шесть самолетов военно-воздушных сил Сан-Лоренцо сделают круг над дворцом и проведут стрельбу по целям на воде. Это часть торжественной церемонии, отмечающей День памяти «Ста мучеников за демократию». Американский посол тогда же намеревается опустить на воду венок.

Тут я решился предложить, чтобы Фрэнк объявил мое восхождение на трон сразу после опускания венка на воду и воздушного парада.

— Как вы на это смотрите? — спросил я Фрэнка.

— Вы хозяин, сэр.

— Пожалуй, надо будет подготовить речь, — сказал я. — Потом нужно будет провести что-то вроде церемонии приведения к присяге, чтобы было достойно, официально.

— Вы хозяин, сэр. — Каждый раз, как он произносил эти слова, мне казалось, что они все больше и больше звучат откуда-то издалека, словно Фрэнк опускается по лестнице в глубокое подземелье, а я вынужден оставаться наверху.

И с горечью я понял, что мое согласие стать хозяином освободило Фрэнка, дало ему возможность сделать то, что он больше всего хотел, поступить так же, как его отец: получая почести и жизненные блага, снять с себя всю личную ответственность. И, поступая так, он как бы мысленно прятался от всего в каменном мешке.

101. Как и мои предшественники, я объявляю Боконона вне закона

И я написал свою тронную речь в круглой пустой комнате в одной из башен. Никакой обстановки — только стол и стул. И речь, которую я написал, была тоже круглая, пустая и бедно обставленная.

В ней была надежда. В ней было смирение.

И я понял: невозможно обойтись без Божьей помощи. Раньше я никогда не искал в ней опоры, потому и не верил, что такая опора есть.

Теперь я почувствовал, что надо верить, и я поверил.

Кроме того, мне нужна была помощь людей. Я потребовал список гостей, которые должны были присутствовать на церемонии, и увидел, что ни Джулиана Касла, ни его сына среди приглашенных не было. Я немедленно послал к ним гонцов с приглашением, потому что эти люди знали мой народ лучше всех, за исключением Боконона.

Теперь о Бокононе.

Я раздумывал, не попросить ли его войти в мое правительство и, таким образом, устроить

что-то вроде Золотого века для моего народа. И я подумал, что надо отдать приказ снять под общее ликование этот чудовищный крюк у ворот дворца.

Но потом я понял, что Золотой век должен подарить людям что-то более существенное, чем святого у власти, что всем надо дать много хорошей еды, уютное жилье, хорошие школы, хорошее здоровье, хорошие развлечения и, конечно, работу всем, кто захочет работать, а всего этого ни я, ни Боконон дать не могли.

Значит, добро и зло придется снова держать отдельно: зло — во дворце, добро — в джунглях. И это было единственное развлечение, какое мы могли предоставить народу.

В двери постучали. Вошел слуга и объявил, что гости начали прибывать.

И я сунул свою речь в карман и поднялся по винтовой лестнице моей башни. Я взошел на самую высокую башню моего замка и взглянул на моих гостей, моих слуг, мою скалу и мое тепловатое море.

102. Враги свободы

Когда я вспоминаю всех людей, стоявших на самой высокой башне, я вспоминаю сто девятнадцатое калипсо Боконона, где он просит нас спеть с ним вместе:

«Где вы, где вы, старые дружки?» –
Плакал грустный человек.
Я ему тихонько на ухо шепнул:
«Все они ушли навек!»

Среди присутствующих был посол Хорлик Минтон с супругой, мистер Лоу Кросби, фабрикант велосипедов, со своей Хэзел, доктор Джулиан Касл, гуманист и благотворитель, и его сын, писатель и владелец отеля, крошка Ньют Хониккер, художник, и его музыкальная сестрица миссис Гаррисон С.ККоннерс, моя божественная Мона, генерал-майор Фрэнклин Хониккер и двадцать отборных чиновников и военнослужащих Сан-Лоренцо.

Умерли, почти все они теперь умерли…

Как говорит нам Боконон, «слова прощания никогда не могут быть ошибкой».

На моей башне было приготовлено угощение, изобиловавшее местными деликатесами: жареные певчие птички в мундирчиках, сделанных из их собственных пестрых перышек, лиловатые крабы — их вынули из панцирей, мелко изрубили и изжарили в кокосовом масле, крошечные барракуды, начиненные банановым пюре, и, наконец, кусочки вареного альбатроса на пресных кукурузных лепешках.

Альбатроса, как мне сказали, подстрелили с той самой башни, где теперь стояло угощение.

Из напитков предлагалось два, оба без льда: пепси-кола и местный ром. Пепси-колу подавали в пластмассовых кружках, ром — в скорлупе кокосовых орехов. Я не мог понять, чем так сладковато пахнет ром, хотя запах чем-то напоминал мне давнюю юность.

Фрэнк объяснил мне, откуда я знаю этот запах.

— Ацетон, — сказал он.

— Ацетон?

— Ну да, он входит в состав для склейки моделей самолетов.

Ром я пить не стал.

Посол Минтон, с видом дипломатическим и гурманским, неоднократно вздымал в тосте свой кокосовый орех, притворяясь другом всего

человечества и ценителем всех напитков, поддерживающих людей, но я не заметил, чтобы он пил. Кстати, при нем был какой-то ящик — я никогда раньше такого не видал.

С виду ящик походил на футляр от большого тромбона, и, как потом оказалось, в нем был венок, который надлежало пустить по волнам.

Единственный, кто решался пить этот ром, был Лоу Кросби, очевидно, начисто лишенный обоняния. Ему, как видно, было весело: взгромоздясь на одну из пушек так, что его жирный зад затыкал дырку для запала, он потягивал ацетон из кокосового ореха. В огромный японский бинокль он смотрел на море. Смотрел он на мишени для стрельбы: они были установлены на плотах, стоявших на якоре неподалеку от берега, и качались на волнах. Мишени, вырезанные из картона, изображали человеческие фигуры.

В них должны были стрелять и бросать бомбы все шесть самолетов военно-воздушных сил Сан-Лоренцо.

Каждая мишень представляла собой карикатуру на какого-нибудь реального человека, причем имя этого человека было написано и сзади и спереди мишени.

Я спросил, кто рисовал карикатуры, и узнал,

что их автор — доктор Вокс Гумана, христианский пастырь. Он стоял около меня.

— А я не знал, что у вас такие разнообразные таланты.

— О да. В молодости мне очень трудно было принять решение, кем быть.

— Полагаю, что вы сделали правильный выбор.

— Я молился об указаниях свыше.

— И вы их получили.

Лоу Кросби передал бинокль жене.

— Вон там, ближе всех, старый Джо Сталин, а рядышком — старина Фидель Кастро.

— А вон там Гитлер, — восторженно захихикала Хэзел. — А вот старик Муссолини и какой-то япошка.

— А вон старина Карл Маркс.

— А вон там император Вильгельм в каске, — ворковала Хэзел. — Вот уж кого не ожидала увидеть!

— И старик Мао. Видишь старика Мао?

— Ох и влепят ему. Ох и влепят, на всю жизнь запомнит, верно? Нет, это они здорово придумали.

— Да, собрали фактически всех, кто был врагом свободы! — объявил Лоу Кросби.

103. Врачебное заключение о последствиях забастовки писателей

Никто из гостей еще не знал, что я стану президентом. Никто не знал, как близок к смерти «Папа». Фрэнк официально сообщил, что «Папа» спокойно отдыхает и что «Папа» шлет всем наилучшие пожелания.

Торжественная часть, как объявил Фрэнк, начнется с того, что посол Минтон пустит по волнам венок в честь Ста мучеников, затем самолеты собьют мишени в воду, а затем он, Фрэнк, скажет несколько слов.

Он умолчал о том, что после его речи возьму слово я.

Поэтому со мной обращались просто как с выездным корреспондентом, и я занялся безобидным, но дружественным *гранфаллонством*.

— Привет, мамуля! — сказал я Хэзел.

— О, да это же мой сыночек! — Хэзел заключила меня в надушенные объятия и объявила окружающим: — Этот юноша из хужеров!

Оба Касла — и отец и сын — стояли в сторонке

от всей компании. Издавна они были нежеланными гостями во дворце «Папы», и теперь им было любопытно, зачем их пригласили.

Молодой Касл назвал меня хватом:

— Здорово, Хват! Что нового нахватали для литературы?

— Это я и вас могу спросить.

— Собираюсь объявить всеобщую забастовку писателей, пока человечество не одумается окончательно. Поддержите меня?

— Разве писатели имеют право бастовать? Это все равно, как если забастуют пожарные или полиция.

— Или профессора университетов.

— Или профессора университетов, — согласился я. И покачал головой. — Нет, мне совесть не позволит поддерживать такую забастовку. Если уж человек стал писателем — значит, он взял на себя священную обязанность: не покладая рук творить красоту, нести свет и утешение людям.

— А мне все же думается — вот была бы встряска этим людям, если бы вдруг не появилось ни одной новой книги, новой пьесы, ни одного нового рассказа, нового стихотворения…

— А вы бы радовались, если бы люди перемерли как мухи? — спросил я.

— Нет, они бы скорее перемерли как бешеные собаки, рычали бы друг на друга, все бы перегрызлись, перекусали собственные хвосты.

Я обратился к Каслу-старшему:

— Скажите, сэр, от чего умрет человек, если его лишить радости и утешения, которые дает литература?

— Не от одного, так от другого, — сказал он. — Либо от окаменения сердца, либо от атрофии нервной системы.

— И то и другое не очень-то приятно, — сказал я.

— Да, — сказал Касл-старший. — Нет уж, ради бога, вы оба пишите, пожалуйста, пишите!

104. Сульфатиазол

Моя божественная Мона ко мне не подошла и ни одним взглядом не поманила меня к себе. Она играла роль хозяйки, знакомя Анджелу и крошку Ньюта с представителями жителей Сан-Лоренцо.

Сейчас, когда я размышляю о сущности этой девушки — вспоминаю, с каким полнейшим равнодушием она отнеслась и к обмороку «Папы», и к нашему с ней обручению, — я колеблюсь, и то возношу ее до небес, то совсем принижаю.

Воплощена ли в ней высшая духовность и женственность?

Или она бесчувственна, холодна, короче говоря, рыбья кровь, бездумный культ ксилофона, красоты и *боко-мару?*

Никогда мне не узнать истины.

Боконон учит нас:

Себе влюбленный лжет,
Не верь его слезам,
Правдивый без любви живет,
Как устрицы – глаза.

Значит, мне как будто дано правильное ука-

зание. Я должен вспоминать о моей Моне как о совершенстве.

— Скажите мне, — обратился я к Филиппу Каслу в День «Ста мучеников за демократию». — Вы сегодня разговаривали с вашим другом и почитателем Лоу Кросби?

— Он меня не узнал в костюме, при галстуке и в башмаках, — ответил младший Касл, — и мы очень мило поболтали о велосипедах. Может быть, мы с ним еще поговорим.

Я понял, что идея Кросби делать велосипеды для Сан-Лоренцо мне уже не кажется смехотворной. Как будущему правителю этого острова, мне очень и очень нужна была фабрика велосипедов. Я вдруг почувствовал уважение к тому, что собой представлял мистер Лоу Кросби и что он мог сделать.

— Как по-вашему, народ Сан-Лоренцо воспримет индустриализацию? — спросил я обоих Каслов — отца и сына.

— Народ Сан-Лоренцо, — ответил мне отец, — интересуется только тремя вещами: рыболовством, распутством и боконизмом.

— А вы не думаете, что прогресс может их заинтересовать?

— Видали они и прогресс, хоть и мало. Их увле-

кает только одно прогрессивное изобретение.

— А что именно?

— Электрогитара.

Я извинился и подошел к чете Кросби. С ними стоял Фрэнк Хониккер и объяснял им, кто такой Боконон и против чего он выступает.

— Против науки.

— Как это человек в здравом уме может быть против науки? — спросил Кросби.

— Я бы уже давно умерла, если б не пенициллин, — сказала Хэзел, — и моя мама тоже.

— Сколько же лет сейчас вашей матушке? — спросил я.

— Сто шесть. Чудо, правда?

— Конечно, — согласился я.

— И я бы давно была вдовой, если бы не то лекарство, которым лечили мужа, — сказала Хэзел. Ей пришлось спросить у мужа название лекарства: — Котик, как называлось то лекарство, помнишь, оно в тот раз спасло тебе жизнь?

— Сульфатиазол.

И тут я сделал ошибку — взял с подноса, который проносили мимо, сандвич с альбатросовым мясом.

105. Болеутоляющее

И так случилось, «так *должно* было случиться», как сказал бы Боконон, что мясо альбатроса оказалось для меня настолько вредным, что мне стало худо, едва я откусил первый кусок. Мне пришлось срочно бежать вниз по винтовой лестнице в поисках уборной. Я еле успел добежать до уборной рядом со спальней «Папы».

Когда я вышел оттуда, пошатываясь, я столкнулся с доктором Шлихтером фон Кенигсвальдом, вылетевшим из спальни «Папы». Он посмотрел на меня дикими глазами, схватил за руку и закричал:

— Что это такое? Что там у него висело на шее?

— Простите?

— Он проглотил эту штуку. То, что было в ладанке. «Папа» глотнул — и умер.

Я вспомнил ладанку, висевшую у «Папы» на шее, и сказал наугад:

— Цианистый калий?

— Цианистый калий? Разве цианистый калий в одну секунду превращает человека в камень?

— В камень?

— В мрамор! В чугун! В жизни не видел такого трупного окоченения. Ударьте по нему, и звук такой, будто бьешь в бубен. Подите взгляните сами.

И доктор фон Кенигсвальд подтолкнул меня к спальне «Папы».

На кровать, на золотую шлюпку, страшно было смотреть. Да, «Папа» скончался, но про него никак нельзя было сказать: «Упокоился с миром».

Голова «Папы» была запрокинута назад до предела. Вся тяжесть тела держалась на макушке и на пятках, а все тело было выгнуто мостом, дугой кверху. Он был похож на коромысло.

То, что его прикончило содержимое ладанки, висевшей на шее, было бесспорно. В одной руке он держал этот цилиндрик с открытой пробкой. А указательный и большой палец другой руки, сложенные щепоткой, он держал между зубами, словно только что положил в рот малую толику какого-то порошка.

Доктор фон Кенигсвальд вынул уключину из гнезда на шкафуте золоченой шлюпки. Он постучал по животу «Папы» стальной уключиной, и «Папа» действительно загудел, как бубен.

А губы и ноздри у «Папы» были покрыты иссиня-белой изморозью.

Теперь такие симптомы, видит бог, уже не новость. Но тогда их не знали. «Папа» Монзано был первым человеком, погибшим от *льда-девять*.

Записываю этот факт, может, он и пригодится. «Записывайте все подряд», — учит нас Бокононон. Конечно, на самом деле он хочет доказать, насколько бесполезно писать или читать исторические труды. «Разве без точных записей о прошлом можно хотя бы надеяться, что люди — и мужчины и женщины — избегнут серьезных ошибок в будущем?» — спрашивает он с иронией.

Итак, повторяю: «Папа» Монзано был первый человек в истории, скончавшийся от *льда-девять*.

106. Что говорят бокониcты, кончая жизнь самоубийством

Доктор фон Кенигсвальд, с огромной задолженностью по Освенциму, еще не покрытой его теперешними благодеяниями, был второй жертвой *льда-девять*.

Он говорил о трупном окоченении — я первый затронул эту тему.

— Трупное окоченение в одну минуту не наступает, — объявил он. — Я лишь на секунду отвернулся от «Папы». Он бредил…

— Про что?

— Про боль, Мону, лед — про все такое. А потом сказал: «Сейчас разрушу весь мир».

— А что он этим хотел сказать?

— Так обычно говорят бокониcты, кончая жизнь самоубийством. — Фон Кенигсвальд подошел к тазу с водой, собираясь вымыть руки. — А когда я обернулся, — продолжал он, держа ладони над водой, — он был мертв, окаменел, как статуя, сами видите. Я провел пальцем по его губам, вид у них был какой-то странный.

Он опустил руки в воду.

— Какое вещество могло… — Но вопрос повис в воздухе.

Фон Кенигсвальд поднял руки из таза, и вода поднялась за ним.

Только это уже была не вода, а полушарие из *льда-девять*.

Фон Кенигсвальд кончиком языка коснулся таинственной иссиня-белой глыбы.

Иней расцвел у него на губах. Он застыл, зашатался и грохнулся оземь.

Сине-белое полушарие разбилось. Куски льда рассыпались по полу.

Я бросился к дверям, закричал, зовя на помощь.

Солдаты и слуги вбежали в спальню.

Я приказал немедленно привести Фрэнка, Анджелу и Ньюта в спальню «Папы».

Наконец-то я увидел *лед-девять*!

107. Смотрите и радуйтесь!

Я впустил трех детей доктора Феликса Хоникера в спальню «Папы» Монзано.

Я закрыл двери и припер их спиной. Я был полон величественной горечи. Я понимал, что такое *лед-девять.* Я часто видел его во сне.

Не могло быть никаких сомнений, что Фрэнк дал «Папе» *лед-девять.* И казалось вполне вероятным, что, если Фрэнк мог раздавать *лед-девять,* значит, и Анджела с маленьким Ньютом тоже могли его отдать.

И я зарычал на всю эту троицу, призывая их к ответу за это чудовищное преступление. Я сказал, что их штучкам конец, что мне все известно про них и про *лед-девять.*

— Смотрите и радуйтесь! — сказал я.

Но, как сказал Боконон, «Бог еще никогда в жизни не написал хорошей пьесы». На сцене, в спальне «Папы», и декорации и бутафория были потрясающие, и мой первый монолог прозвучал отлично.

Но первая же реакция на мои слова одного из Хоникеров погубила все это великолепие.

Крошку Ньюта вдруг стошнило.

108. Фрэнк объясняет, что надо делать

И нам всем тоже стало тошно. Ньют отреагировал совершенно правильно.

— Вполне с вами согласен, — сказал я ему и зарычал на Анджелу и Фрэнка: — Мнение Ньюта мы уже видели, а вы оба что можете сказать?

— К-хх, — сказала Анджела, передернувшись и высунув язык. Она пожелтела, как замазка.

— Ваши чувства совпадают? — спросил я Фрэнка. — Вам, генерал-майор, тоже хочется сделать «к-хх»?

Фрэнк оскалил зубы, стиснув их изо всей силы, и дыхание у него вырывалось толчками, со свистом.

— Как та собака, — прошептал крошка Ньют, глядя на фон Кенигсвальда.

— Какая собака?

Ньют ответил шепотом, почти что не дыша. Но в комнате с каменными стенами была такая акустика, что мы все расслышали этот шепот так ясно, как будто прозвонили хрустальные бубенцы.

— В сочельник, когда умер отец.

Ньют разговаривал сам с собой. И когда я попросил его рассказать, что случилось с собакой в ночь, когда умер их отец, он взглянул на меня, словно я влез в его сон. Ему казалось, что я никакого отношения к ним не имею.

Зато его брат и сестра участвовали в этом кошмаре, и с ними он заговорил как во сне:

— Ты ему дал эту вещь, — сказал он Фрэнку. — Так вот как ты стал важной шишкой, — с удивлением добавил Ньют. — Что ты ему сказал — что у тебя есть вещь почище водородной бомбы?

Фрэнк на вопрос не ответил. Он оглядывал комнату, пристально изучая ее. Зубы у него разжались, застучали мелкой дрожью, он быстро, словно в такт, заморгал глазами. Бледность стала проходить. И сказал он так:

— Слушайте, надо убрать всю эту штуку.

109. Фрэнк защищается

— Генерал, — сказал я Фрэнку, — ни один генерал-майор за весь этот год не дал более разумной команды. И каким же образом вы, в качестве моего советника по технике, порекомендуете нам, как вы прекрасно выразились, «убрать всю эту штуку»?

Фрэнк ответил очень точно. Он щелкнул пальцами. Я понял, что он снимает с себя ответственность за «всю эту штуку» и со все возрастающей гордостью и энергией отождествляет себя с теми, кто борется за чистоту, спасает мир, наводит порядок.

— Метлы, совки, автоген, электроплитка, ведра, — приказывал он и все прищелкивал, прищелкивал и прищелкивал пальцами.

— Хотите автогеном уничтожить трупы? — спросил я.

Фрэнк был так наэлектризован своей технической смекалкой, что просто-напросто отбивал чечетку, прищелкивая пальцами.

— Большие куски подметем с пола, растопим в ведре на плитке. Потом пройдемся автогеном

по всему полу, дюйм за дюймом, вдруг там застряли микроскопические кристаллы. А что мы сделаем с трупами… — Он вдруг задумался. — Погребальный костер! — крикнул он, радуясь своей выдумке. — Велю сложить огромный костер под крюком, вынесем тела и постель — и на костер!

Он пошел к выходу, чтобы приказать разложить костер и принести все, что нужно для очистки комнаты.

Анджела остановила его:

— Как ты мог?

Фрэнк улыбнулся остекленелой улыбкой:

— Ничего, все будет в порядке!

— Но как ты мог дать это такому человеку, как «Папа» Монзано? — спросила его Анджела.

— Давай сначала уберем эту штуку, потом поговорим.

Но Анджела вцепилась в его руку и не отпускала.

— Как ты мог? — крикнула она, тряся его. Фрэнк расцепил руки сестры. Остекленелая улыбка исчезла, и со злой издевкой он сказал, не скрывая презрения:

— Купил себе должность той же ценой, что ты себе купила кота в мужья, той же ценой, что Ньют купил неделю с русской лилипуткой там,

на даче.

Улыбка снова застыла на его лице. Фрэнк вышел, сильно хлопнув дверью…

110. Четырнадцатый том

«Иногда человек совершенно не в силах объяснить, что такое *пууль-па*», — учит нас Боконон. В одной из *Книг Боконона* он переводит слово *пууль-па* как *ливень из дерьма,* а в другой — как *гнев Божий.*

Из слов Фрэнка, брошенных перед тем, как он хлопнул дверью, я понял, что республика Сан-Лоренцо и трое Хониккеров были не единственными владельцами *льда-девятъ*…

Судя по всему, Соединенные Штаты Америки и Союз Советских Социалистических Республик тоже получили свои кусочки. Соединенные Штаты были обязаны этим мужу Анджелы — теперь понятно, почему его фабрика в Индианаполисе была окружена забором с проволокой под высоким напряжением и охранялась овчарками-людоедами. А Советской России удалось раздобыть кусочек с помощью ловкого бесенка — крошки Зинки, танцовщицы из украинского балета, охмурившей крошку Ньюта.

Ну, что ты скажешь…

Слов у меня не нашлось.

Я склонил голову, закрыл глаза и стал ждать, пока вернется Фрэнк с немудрящим инструментом, потребным для очистки одной спальни, той единственной спальни из всех земных спален, которая была отравлена *льдом-девять*. Сквозь смутное забытье, охватившее меня мягким облаком, я услышал голос Анджелы. Она не пыталась защитить себя, она защищала Ньюта: «Он ничего не давал этой лилипутке, она все украла!»

Мне ее довод показался неубедительным.

«На что может надеяться человечество, — подумал я, — если такие ученые, как Феликс Хониккер, дают такие игрушки, как *лед-девять*, таким близоруким детям, а ведь из них состоит почти все человечество?»

И я вспомнил *Четырнадцатый том сочинений Боконона* — прошлой ночью я его прочел весь целиком. *Четырнадцатый том* озаглавлен так:

«Может ли разумный человек, учитывая опыт прошедших веков, питать хоть малейшую надежду на светлое будущее человечества?»

Прочесть *Четырнадцатый том* недолго. Он состоит всего из одного слова и точки: «Нет».

111. Тайм-аут

Фрэнк вернулся с метлами, совками, с автогеном и примусом, с добрым старым ведром и резиновыми перчатками.

Мы надели перчатки, чтобы не касаться руками *льда-девятъ.* Фрэнк поставил примус на ксилофон божественной Моны, а наверх водрузил честное старое ведро.

И мы стали подбирать самые крупные осколки *льда-девятъ,* и мы их бросали в наше скромное ведро, и они таяли. Они становились доброй старой, милой старой, честной нашей старой водичкой.

Мы с Анджелой подметали пол, крошка Ньют заглядывал под мебель, ища осколки *льда-девять:* мы могли их прозевать. А Фрэнк шел за нами, поливая все очистительным пламенем автогена.

Бездумное спокойствие сторожей и уборщиц, работающих поздними ночами, сошло на нас. В загаженном мире мы, по крайней мере, очищали хоть один наш маленький уголок.

И я поймал себя на том, что самым будничным

тоном расспрашиваю Ньюта, и Анджелу, и Фрэнка о том сочельнике, когда умер их отец, и прошу рассказать мне про ту собаку.

И в детской уверенности, что они все исправят, очистив эту комнату, Хониккеры рассказали мне эту историю.

Вот их рассказ.

В тот памятный сочельник Анджела пошла в деревню за лампочками для елки, а Ньют с Фрэнком вышли пройтись по пустынному зимнему пляжу, где и повстречали черного ретривера. Пес был ласковый, как все лабрадорские ретриверы, и пошел за Фрэнком и крошкой Ньютом к ним домой.

Феликс Хониккер умер — умер в своей белой качалке, пока детей не было дома. Весь день старик дразнил детей намеками на *лед-девять*, показывая им небольшую бутылочку, на которую он приклеил ярлычок с надписью: *«Опасно! Лед-девять! Беречь от влаги!»*

Весь день старик надоедал своим детям такими разговорами:

— Ну же, пошевелите мозгами! — говорил он весело. — Я вам уже сказал: точка таяния у него сто четырнадцать, запятая, четыре десятых по Фаренгейту, и еще я вам сказал, что состоит он

только из водорода и кислорода. Как же это объяснить? Ну подумайте же! Не бойтесь поднапрячь мозги! Они от этого не лопнут.

— Он нам всегда говорил «напрягите мозги», — сказал Фрэнк, вспоминая прежние времена.

— А я и не пыталась напрягать мозги уже не помню с каких лет, — созналась Анджела, опираясь на метлу. — Я даже слушать не могла, когда он начинал говорить про научное. Только кивала головой и притворялась, что пытаюсь напрячь мозги, но бедные мои мозги потеряли всякую эластичность, все равно что старая резина на поясе.

Очевидно, прежде чем усесться в свою плетеную качалку, старик возился на кухне — играл с водой и *льдом-девятъ* в кастрюльках и плошках. Наверно, он превращал воду в *лед-девятъ*, а потом снова лед превращал в воду, потому что с полок были сняты все кастрюльки и миски. Там же валялся термометр — должно быть, старик измерял какую-то температуру.

Наверно, он собирался только немного посидеть в кресле, потому что оставил на кухне ужасный беспорядок. Посреди этого беспорядка стояла чашка, наполненная до краев *льдом-девятъ*. Несомненно, он собирался растопить и этот лед, чтобы оставить на земле только осколок

этого сине-белого вещества, закупоренного в бутылке, но взял тайм-аут.

Однако, как говорит Боконон, «каждый человек может взять тайм-аут, но ни один человек не может сказать, насколько этот тайм-аут затянется».

112. Сумочка матери Ньюта

— Надо бы мне сразу, как только я вошла, понять, что отец умер, — сказала Анджела, опершись на метлу. — Качалка ни звука не издавала. А она всегда разговаривала, поскрипывала, даже когда отец спал.

Но Анджела все же решила, что он уснул, и ушла убирать елку.

Ньют и Франк вернулись с черным ретривером. Они зашли на кухню — дать собаке поесть. И увидали, что всюду разлита вода.

На полу стояли лужи, и крошка Ньют взял тряпку для посуды и вытер пол. А мокрую тряпку бросил на шкафчик.

Но тряпка случайно попала в чашку со *льдом-девять*, Фрэнк решил, что в чашке приготовлена глазурь для торта, и, сняв чашку, ткнул ее под нос Ньюту — посмотри, что ты наделал.

Ньют оторвал тряпку от льда и увидел, что она приобрела какой-то странный металлический змеистый блеск, как будто она была сплетена из тонкой золотой сетки.

— Знаете, почему я говорю «золотая сетка»? —

рассказывал Ньют в спальне «Папы» Монзано. — Потому что мне эта тряпка напомнила мамину сумочку, особенно на ощупь.

Анджела прочувствованно объяснила, что Ньют в детстве обожал золотую сумочку матери. Я понял, что это была вечерняя сумочка.

— До того она была необычная на ощупь, я ничего лучшего на свете не знал, — сказал Ньют, вспоминая свою детскую любовь к сумочке. — Интересно, куда она девалась?

— Интересно, куда многое девалось, — сказала Анджела. Ее слова эхом отозвались в прош-лом — грустные, растерянные.

А с тряпкой, напоминавшей на ощупь золотую сумочку, случилось вот что: Ньют протянул ее собаке, та лизнула — и сразу окоченела. Ньют пошел к отцу — рассказать ему про собаку — и увидел, что отец тоже окоченел.

113. История

Наконец мы убрали спальню «Папы» Монзано.

Но трупы надо было еще вынести на погребальный костер. Мы решили, что сделать это нужно с помпой и что мы отложим эту церемонию до окончания торжеств в честь «Ста мучеников за демократию».

Напоследок мы поставили фон Кенигсвальда на ноги, чтобы обезвредить то место на полу, где он лежал. А потом мы спрятали его в стоячем положении в платяной шкаф «Папы».

Сам не знаю, зачем мы его спрятали. Наверно, для того, чтобы упростить картину.

Что же касается рассказа Анджелы, Фрэнка и Ньюта о том, как они в тот сочельник разделили между собой весь земной запас *льда-девять*, то, когда они подошли к рассказу об этом преступлении, они как-то выдохлись. Никто из них не мог припомнить, на каком основании они присвоили себе право взять *лед-девять*. Они рассказывали, какое это вещество, вспоминали, как отец требовал, чтобы они напрягли мозги, но о моральной стороне дела ни слова не было сказано.

— А кто его разделил? — спросил я.

Но у всех троих так основательно выпало из памяти все событие, что им даже трудно было восстановить эту подробность.

— Как будто не Ньют, — наконец сказала Анджела. — В этом я уверена.

— Наверно, либо ты, либо я, — раздумчиво сказал Фрэнк, напрягая память.

— Я сняла три стеклянные банки с полки, — вспомнила Анджела. — А три маленьких термоса мы достали только назавтра.

— Правильно, — согласился Фрэнк. — А потом ты взяла щипчики для льда и наколола *лед-девятъ* в миску.

— Верно, — сказала Анджела. — Наколола. А потом кто-то принес из ванной пинцет.

Ньют поднял ручонку:

— Это я принес.

Анджела и Ньют сейчас сами удивлялись, до чего малыш Ньют оказался предприимчив.

— Это я брал пинцетом кусочки и клал их в стеклянные баночки, — продолжал Ньют. Он не скрывал, что немного хвастает этим делом.

— А что же вы сделали с собакой? — спросил я унылым голосом.

— Сунули в печку, — объяснил мне Фрэнк. —

Больше ничего нельзя было сделать.

«История! — пишет Боконон. — Читай и плачь!»

114. «Когда мне в сердце пуля залетела»

И вот я снова поднялся по винтовой лестнице на *свою* башню, снова вышел на самую верхнюю площадку *своего* замка и снова посмотрел на *своих* гостей, *своих* слуг, *свою* скалу и *свое* тепловатое море.

Все Хониккеры поднялись со мной. Мы заперли спальню «Папы», а среди челяди пустили слух, что «Папе» гораздо лучше.

Солдаты уже складывали похоронный костер у крюка. Они не знали, зачем его складывают.

Много, много тайн было у нас в тот день.

Дела, дела, дела.

Я подумал, что торжественную часть уже можно начинать, и велел Фрэнку подсказать послу Минтону, что пора произнести речь.

Посол Минтон подошел к балюстраде, нависшей над морем, неся с собой венок в футляре. И он сказал поразительную речь в честь «Ста мучеников за демократию». Он восславил павших, их родину, жизнь, из которой они ушли, произнося слова «Сто мучеников за демократию» на мест-

ном наречии. Этот обрывок диалекта прозвучал в его устах легко и грациозно.

Всю остальную речь он произнес на американо-английском языке. Речь была записана у него на бумажке — наверно, подумал я, будет говорить напыщенно и ходульно. Но когда он увидел, что придется говорить с немногими людьми, да к тому же по большей части с соотечественниками — американцами, он оставил официальный тон.

Легкий ветер с моря трепал его поредевшие волосы.

— Я буду говорить очень непосольские слова, — объявил он, — я собираюсь рассказать вам, что я испытываю на самом деле.

Может быть, Минтон вдохнул слишком много ацетоновых паров, а может, он предчувствовал, что случится со всеми, кроме меня. Во всяком случае, он произнес удивительно боконистскую речь.

— Мы собрались здесь, друзья мои, — сказал он, — чтобы почтить память «Сита мусеники за зимакарацию», память детей, всех детей, убиенных на войне. Обычно в такие дни этих детей называют *мужчинами.* Но я не могу назвать их мужчинами по той простой причине, что в той

же войне, в которой погибли «Сито мусеники за зимакарацию», погиб и мой сын.

И душа моя требует, чтобы я горевал не по мужчине, а по своему ребенку.

Я вовсе не хочу сказать, что дети на войне, если им приходится умирать, умирают хуже мужчин. К их вечной славе и нашему вечному стыду, они умирают именно как мужчины, тем самым оправдывая мужественное ликование патриотических празднеств.

Но все равно все они — убитые дети.

И я предлагаю вам: если уж мы хотим проявить искреннее уважение к памяти ста погибших детей Сан-Лоренцо, то будет лучше всего, если мы проявим презрение к тому, что их убило, а именно — к глупости и злобности рода человеческого.

Может быть, вспоминая о войнах, мы должны были бы снять с себя одежду и выкраситься в синий цвет, встать на четвереньки и хрюкать, как свиньи. Несомненно, это больше соответствовало бы случаю, чем пышные речи, и реяние знамен, и пальба хорошо смазанных пушек.

Я не хотел бы показаться неблагодарным — ведь нам сейчас покажут отличный военный парад, а это и в самом деле будет увлекательное зрелище.

Он посмотрел каждому из нас прямо в глаза и добавил очень тихо, словно невзначай:

— И ура всем увлекательным зрелищам!

Нам пришлось напрячь слух, чтобы уловить то, что Минтон добавил дальше:

— Но если сегодня и в самом деле день памяти ста детей, убитых на войне, — сказал он, — то разве в такой день уместны увлекательные зрелища?

«Да», — ответим мы, но при одном условии: чтобы мы, празднующие этот день, сознательно и неутомимо трудились над тем, чтобы убавить и глупость, и злобу в себе самих и во всем человечестве.

— Видите, что я привез? — спросил он нас.

Он открыл футляр и показал нам алую подкладку и золотой венок. Венок был сплетен из проволоки и искусственных лавровых листьев, обрызганных серебряной автомобильной краской.

Поперек венка шла кремовая атласная лента с надписью «Pro patria!».[9]

Тут Минтон продекламировал строфы из книги Эдгара Ли Мастерса «Антология Спун-ривер».

---

[9] Сноски: 9
«За родину!» *(лат.)*

Стихи, вероятно, были совсем непонятны присутствовавшим тут гражданам Сан-Лоренцо, а впрочем, их, наверно, не поняли и Лоу Кросби, и его Хэзел, и Фрэнк с Анджелой тоже.

Я первым пал в бою под Мишенери-Ридж.

Когда мне в сердце пуля залетела,

Я пожалел, что не остался дома,

Не сел в тюрьму за то, что крал свиней

У Карла Теннери, а взял да убежал

На фронт сражаться.

Уж лучше тыщу дней сидеть у нас в тюрьме,

Чем спать под мраморным крылатым истуканом,

Спать под плитой гранитной, где стоят

Слова «Pro patria!».

Да что же они значат?

— Да что же они значат? — повторил посол Хорлик Минтон. — Эти слова значат: «За родину!» За чью угодно родину, — как бы невзначай

добавил он.

— Этот венок я приношу в дар от родины одного народа родине другого народа. Не важно, чья это родина. Думайте о народе…

И о детях, убитых на войне.

И обо всех странах.

Думайте о мире.

И о братской любви.

Подумайте о благоденствии.

Подумайте, каким раем могла бы стать земля, если бы люди были добрыми и мудрыми.

И хотя люди глупы и жестоки, смотрите, какой прекрасный нынче день, — сказал посол Хорлик Минтон. — И я от всего сердца и от имени миролюбивых людей Америки жалею, что «Сито мусеники за зимакарацию» мертвы в такой прекрасный день.

И он метнул венок вниз с парапета.

В воздухе послышалось жужжание. Шесть самолетов военно-воздушного флота Сан-Лоренцо приближались, паря над моим тепловатым морем.

Сейчас они возьмут под обстрел чучела тех, про кого Лоу Кросби сказал, что это «фактически все, кто был врагом свободы».

115. Случилось так

Мы подошли к парапету над морем — поглядеть на это зрелище. Самолеты казались зернышками черного перца. Мы их разглядели потому, что случилось так, что за одним из них тянулся хвост дыма.

Мы решили, что дым пустили по сценарию, для эффекта.

Я стоял рядом с Лоу Кросби, и случилось так, что он ел бутерброд с альбатросом и запивал местным ромом. Он причмокивал губами, лоснящимися от жира альбатроса, от него несло ацетоновым клеем. У меня к горлу снова подступила тошнота.

Я отошел и, стоя в одиночестве у другого парапета, хватал воздух ртом. Между мной и остальными оказалось шестьдесят футов площадки, мощенной старым камнем.

Я сообразил, что самолеты спустятся низко, ниже подножия замка, и что я пропущу представление. Но тошнота отбила у меня все любопытство. Я повернул голову туда, откуда уже шел воющий гул. И в ту минуту, как застучали пулеметы, один

из самолетов, тот, за которым тянулся хвост дыма, вдруг перевернулся брюхом кверху, объятый пламенем.

Он снова исчез из моего поля зрения, сразу грохнувшись об скалу. Его бомбы и горючее взорвались.

Остальные целые самолеты с воем улетели, и вскоре их гул доносился словно комариный писк.

И тут послышался грохот обвала — одна из огромных башен «Папиного» замка, подорванная взрывом, рухнула в море.

Люди у парапета над морем в изумлении смотрели на пустой цоколь, где только что стояла башня. И тут я услыхал гул обвалов в перекличке, похожей на оркестр.

Перекличка шла торопливо, в нее вплелись новые голоса. Это заголосили подпоры замка, жалуясь на непосильную тяжесть нагрузки.

И вдруг трещина молнией прорезала пол у меня под ногами, в десяти футах от моих судорожно скрючившихся пальцев.

Трещина отделила меня от моих спутников.

Весь замок застонал и громко завыл.

Те, остальные, поняли, что им грозит гибель. Вместе с тоннами камня они сейчас рухнут вниз,

в море. И хотя трещина была не шире фута, они стали героически перескакивать через нее огромными прыжками.

И только моя безмятежная Мона спокойно перешагнула трещину.

Трещина со скрежетом закрылась и снова оскалилась еще шире. На смертельном выступе еще стояли Лоу Кросби со своей Хэзел и посол Хорлик Минтон со своей Клэр.

Мы с Франком и Филиппом Каслом, потянувшись через пропасть, перетащили Кросби к себе, подальше от опасности. И снова умоляюще протянули руки к Минтонам.

Их лица были невозмутимы. Могу только догадываться, о чем они думали. Предполагаю, что больше всего они думали о собственном достоинстве, о соответствующем выражении своих чувств.

Паника была не в их духе. Сомневаюсь, было ли в их духе самоубийство. Но их убила воспитанность, потому что обреченный сектор замка отошел от нас, как океанский пароход отходит от пристани.

Вероятно, Минтонам-путешественникам тоже пришел на ум этот образ, потому что они приветливо помахали нам оттуда.

Они взялись за руки.

Они повернулись лицом к морю.

Вот они двинулись, вот они рухнули вниз в громовом обвале и исчезли навеки!

116. Великий А-бумм!

Рваная рана погибели теперь разверзлась в нескольких дюймах от моих судорожно скрюченных пальцев. Мое тепловатое море поглотило все. Ленивое облако пыли плыло к морю — единственный след рухнувших стен.

Весь замок, сбросив с себя тяжелую маску портала, ухмылялся ухмылкой прокаженного, оскаленной и беззубой. Щетинились расщепленные концы балок. Прямо подо мной открылся огромный зал. Пол этого зала выдавался в пустоту, без опор, словно вышка для прыжков в воду.

На миг мелькнула мысль — спрыгнуть на эту площадку, взлететь с нее ласточкой и в отчаянном прыжке, скрестив руки, без единого всплеска, врезаться в теплую, как кровь, вечность.

Меня вывел из раздумья крик птицы над головой. Она словно спрашивала меня, что случилось. «Пьюти-фьют?» — спрашивала она.

Мы взглянули на птицу, потом друг на друга.

Мы отпрянули от пропасти в диком страхе. И как только я сошел с камня, на котором стоял, камень зашатался. Он был не устойчивей волчка.

И он тут же покатился по полу.

Камень рухнул на площадку, и площадка превратилась в слип. И по этому пологому спуску покатилась мебель из комнаты внизу. Сначала вылетел ксилофон, быстро прыгая на крошечных колесиках. За ним — тумбочка, наперегонки с автогеном. В лихорадочной спешке за ним гнались стулья.

И где-то в глубине комнаты что-то неведомое, упорно не желающее двигаться, поддалось и пошло.

Оно поползло по слипу. Показался золоченый нос. Это была шлюпка, где лежал мертвый «Папа».

Шлюпка ползла по обвалу. Нос накренился. Шлюпка перевесилась над пропастью. И полетела вверх тормашками.

«Папу» выбросило, и он летел отдельно.

Я зажмурился.

Послышался звук, словно медленно закрылись громадные врата величиной с небо, как будто тихо затворили райские врата. Раздался великий *А-бумм…*

Я открыл глаза — все море превратилось в *лед-девятъ.*

Влажная зеленая земля стала синевато-белой

жемчужиной.

Небо потемнело. *Борасизи* — Солнце — превратилось в болезненно-желтый шар, маленький и злой.

Небо наполнилось червями. Это закрутились смерчи.

117. Убежище

Я взглянул на небо, туда, где только что пролетела птица. Огромный червяк с фиолетовой пастью плыл над головой. Он жужжал, как рой пчел. Он качался. Непристойно сжимаясь и разжимаясь, он заглатывал воздух.

Мы, люди, разбежались, мы бросились с моей разрушенной крепости, шатаясь, сбежали по лестнице поближе к суше.

Только Лоу Кросби и его Хэзел закричали. «Мы американцы! Мы американцы!» — орали они, словно смерчи интересовались, к какому именно *гранфаллону* принадлежат их жертвы.

Я потерял чету Кросби из виду. Они спустились по другой лестнице. Откуда-то из коридора замка до меня донеслись их вопли, тяжелый топот и пыхтенье всех беглецов. Моей единственной спутницей была моя божественная Мона, неслышно последовавшая за мной.

Когда я остановился, она проскользнула мимо меня и открыла дверь в приемную перед апартаментами «Папы». Ни стен, ни крыши там не было. Оставался лишь каменный пол. И посреди него

была крышка люка, закрывавшая вход в подземелье. Под кишащим червями небом, в фиолетовом мелькании смерчей, разинувших пасти, чтобы нас поглотить, я поднял эту крышку.

В стенку каменной кишки, ведущей в подземелье, были вделаны железные скобы. Я закрыл крышку изнутри. И мы стали спускаться по железным скобам.

И внизу мы открыли государственную тайну. «Папа» Монзано велел оборудовать там уютное бомбоубежище. В нем была вентиляционная шахта с велосипедным механизмом, приводящим в движение вентилятор. В одну из стен был вмурован бак для воды. Вода была пресная, мокрая, еще не зараженная *льдом-девять*. Был там и химический туалет, и коротковолновый приемник, и каталог Сирса и Роубека, и ящики с деликатесами и спиртным, и свечи. А кроме того, там были переплетенные номера «Национального географического вестника» за последние двадцать лет.

И было там полное собрание сочинений Боконона.

И стояли там две кровати.

Я зажег свечу. Я открыл банку куриного супа и поставил на плитку. И я налил два бокала вир-

гинского рома.

Мона присела на одну постель. Я присел на другую.

— Сейчас я скажу то, что уже много раз говорил мужчина женщине, — сообщил я ей. — Однако не думаю, чтобы эти слова когда-нибудь были так полны смысла, как сейчас.

Я развел руками.

— Что?

— Наконец-то мы одни, — сказал я.

118. Железная дева и каменный мешок

Шестая книга Боконона посвящена боли, и в частности пыткам и мукам, которым люди подвергают людей. «Если меня когда-нибудь сразу казнят на крюке, — предупреждает нас Боконон, — то это, можно сказать, будет очень гуманный способ».

Потом он рассказывает о дыбе, об «испанском сапоге», о железной деве, о «велье» и о каменном мешке.[10]

Ты перед всякой смертью слезами изойдешь.

Но только в каменном мешке для дум ты время обретешь.

Так оно и было в каменном чреве, где оказались мы с Моной. Времени для дум у нас хватало. И прежде всего я подумал о том, что бытовые удобства никак не смягчают ощущение полной заброшенности.

В первый день и в первую ночь нашего пребы-

---

[10] Сноски: 10

Vela *(исп.)* — бодрствование, здесь: бессонница — пытка, при которой человека сажали на острое ребро скамьи на сутки и более. — *Примеч. пер.*

вания под землей ураган тряс крышку нашего люка почти непрестанно. При каждом порыве давление в нашей норе внезапно падало, в ушах стоял шум и звенело в голове.

Из приемника слышался только треск разрядов, и все. По всему коротковолновому диапазону ни слова, ни одного писка телеграфной морзянки я не слыхал. Если мир еще где-то жил, то он ничего не передавал по радио.

И мир молчит до сегодняшнего дня.

И вот что я предположил: вихри повсюду разносят ядовитый *лед-девять*, рвут на куски все, что находится на земле. Все, что еще живо, скоро погибнет от жажды, от голода, от бешенства или от полной апатии.

Я обратился к *Книгам Боконона*, все еще думая в своем невежестве, что найду в них утешение. Я торопливо пропустил предостережение на титульной странице первого тома:

«Не будь глупцом! Сейчас же закрой эту книгу! Тут все — сплошная *фома*».

Фома, конечно, значит ложь.

А потом я прочел вот что:

«Вначале Бог создал землю и посмотрел на нее из своего космического одиночества.

И Бог сказал: «Создадим живые существа из гли-

ны, пусть глина взглянет, что сотворено нами».

И Бог создал все живые существа, какие до сих пор двигаются по земле, и одно из них было человеком. И только этот ком глины, ставший человеком, умел говорить. И Бог наклонился поближе, когда созданный из глины человек привстал, оглянулся и заговорил. Человек заморгал и вежливо спросил: «А в чем *смысл* всего этого?»

— Разве у всего должен быть смысл? — спросил Бог.

— Конечно, — сказал человек.

— Тогда предоставляю тебе найти этот смысл! — сказал Бог.

И он удалился».

Я подумал: чушь собачья!

«Конечно, чушь собачья», — пишет Боконон.

И я обратился к моей божественной Моне, ища утешений в тайнах, гораздо более глубоких.

Влюбленно глядя на нее через проход, разделявший наши постели, я вообразил, что в глубине ее дивных глаз таится тайна, древняя, как праматерь Ева.

Не стану описывать жалкую любовную сцену, которая разыгралась между нами.

Достаточно сказать, что я вел себя отталкивающе и был оттолкнут.

Эта девушка не интересовалась продолжением рода человеческого — ей претила даже мысль об этом.

Под конец этой бессмысленной возни и ей, и мне самому показалось, что я во всем виноват, что это я выдумал нелепый способ создавать новые человеческие существа, задыхаясь и потея.

Скрипя зубами, я вернулся на свою кровать и подумал, что Мона честно не имеет ни малейшего представления, зачем люди занимаются любовью. Но тут она сказала мне очень ласково:

— Так грустно было бы завести сейчас ребеночка! Ты согласен?

— Да, — мрачно сказал я.

— Может быть, ты не знаешь, что именно от этого и бывают дети, — сказала она.

119. Мона благодарит меня

«Сегодня я — болгарский министр народного образования, — пишет Боконон, — а завтра буду Еленой Прекрасной». Смысл этих слов яснее ясного: каждому из нас надо быть самим собой. Об этом я и думал в каменном мешке подземелья, и творения Боконона мне помогли.

Боконон просит меня петь вместе с ним:

Ра-ра-ра, работать пора,
Ла-ла-ла, делай дела,
Но-но-но – как суждено,
Пых-пах-пох, пока не издох.

Я сочинил на эти слова мелодию и потихоньку насвистывал ее, крутя велосипед, который, в свою очередь, крутил вентилятор, дававший нам воздух, добрый старый воздух.

— Человек вдыхает кислород и выдыхает углекислоту, — сказал я Моне.

— Как?

— Наука!

— А-а…

— Это одна из тайн жизни, которую человек

долго не мог понять. Животные вдыхают то, что другие животные выдыхают, и наоборот.

— А я не знала.

— Теперь знаешь.

— Благодарю тебя.

— Не за что.

Когда я допедалировал нашу атмосферу до свежести и прохлады, я слез с велосипеда и взобрался по железным скобам — взглянуть, какая там, наверху, погода. Я лазил наверх несколько раз в день. На четвертый день я увидел сквозь узкую щелку приподнятой крышки люка, что погода стабилизировалась.

Но стабильность эта была сплошным диким движением, потому что смерчи бушевали, да и по сей день бушуют. Но их пасти уже не сжирали все на земле. Смерчи поднялись на почтительное расстояние, мили на полторы. И это расстояние так мало менялось, будто Сан-Лоренцо был защищен от этих смерчей непроницаемой стеклянной крышей.

Мы переждали еще три дня, удостоверившись, что смерчи стали безобидными не только с виду. И тогда мы наполнили водой фляжки и поднялись наверх.

Воздух был сух и мертвенно тих.

Как-то я слыхал мнение, что в умеренном климате должно быть шесть времен года, а не четыре: лето, осень, замыкание, зима, размыкание, весна. И я об этом вспомнил, встав во весь рост рядом с люком, приглядываясь, прислушиваясь, принюхиваясь.

Запахов не было. Движения не было. От каждого моего шага сухо трещал сине-белый лед. И каждый треск будил громкое эхо. Кончилась пора замыкания. Земля была замкнута накрепко. Настала зима, вечная и бесконечная. Я помог моей Моне выйти из нашего подземелья. Я предупредил ее, что нельзя трогать руками сине-белый лед, нельзя подносить руки ко рту.

— Никогда смерть не была так доступна, — объяснил я ей. — Достаточно коснуться земли, а потом — губ, и конец.

Она покачала головой, вздохнула.

— Очень злая мать, — сказала она.

— Кто?

— Мать-земля, она уже не та добрая мать.

— Алло! Алло! — закричал я в развалины замка. Страшная буря проложила огромные ходы сквозь гигантскую груду камней. Мы с Моной довольно машинально попытались поискать, не остался ли кто в живых, я говорю «машинально», потому что

никакой жизни мы не чувствовали. Даже ни одна суетливо шмыгающая носом крыса не выжила.

Из всего, что понастроил человек, сохранилась лишь арка замковых ворот. Мы с Моной подошли к ней. У подножия белой краской было написано бококоновское калипсо. Буквы были аккуратные. Краска свежая — доказательство, что кто-то еще, кроме нас, пережил катастрофу.

Калипсо звучало так:

Настанет день, настанет час,

Придет земле конец.

И нам придется все вернуть,

Что дал нам в долг Творец.

Но если мы, его кляня, подымем шум и вой,

Он только усмехнется, качая головой.

120. Всем, кого это касается

Как-то мне попалась реклама детской книжки под названием «Книга знаний». В рекламе мальчик и девочка, доверчиво глядя на своего папу, спрашивали: «Папочка, а отчего небо синее?» Ответ, очевидно, можно было найти в «Книге знаний».

Если бы мой папочка был рядом, когда мы с Моной вышли из дворца на дорогу, я бы задал ему не один, а уйму вопросов, доверчиво цепляясь за его руку: «Папочка, почему все деревья сломаны? Папочка, почему все птички умерли? Папочка, почему небо такое скучное, почему на нем какие-то червяки? Папочка, почему море такое твердое и тихое?»

Но мне пришло в голову, что я-то смог бы ответить на эти заковыристые вопросы лучше любого человека на свете, если только на свете остался в живых хоть один человек. Если бы кто-нибудь захотел узнать, я бы рассказал, что стряслось, и где, и каким образом.

А какой толк?

Я подумал: где же мертвецы? Мы с Моной отва-

жились отойти от нашего подземелья чуть ли не на милю и ни одного мертвеца не увидали.

Меня меньше интересовали живые, так как я понимал, что сначала наткнусь на груду мертвых. Нигде ни дымка от костров, но, может, их трудно было разглядеть на червивом небе.

И вдруг я увидел: вершина горы Маккэйб была окружена сиреневым ореолом.

Казалось, он манил меня, и глупая кинематографическая картина встала передо мной: мы с Моной взбираемся на эту вершину. Но какой в этом смысл?

Мы дошли до предгорья у подножия горы. И Мона как-то бездумно выпустила мою руку и поднялась на один из холмов. Я последовал за ней.

Я догнал ее на верхушке холма. Она как зачарованная смотрела вниз, в широкую естественную воронку. Она не плакала.

А плакать было отчего.

В воронке лежали тысячи тысяч мертвецов. На губах каждого покойника синеватой пеной застыл *лед-девять*.

Так как тела лежали не врассыпную, не как попало, было ясно, что люди там собрались, когда стихли жуткие смерчи. И так как каждый покой-

ник держал палец у губ или во рту, я понял, что все они сознательно собрались в этом печальном месте и отравились *льдом-девять.*

Там были и мужчины, и женщины, и дети, многие в позе *боко-мару.* И лица у всех были обращены к центру воронки, как у зрителей в амфитеатре.

Мы с Моной посмотрели, куда глядят эти застывшие глаза, перевели взгляд на центр воронки. Он представлял собой круглую площадку, где мог бы поместиться один оратор.

Мы с Моной осторожно подошли к этой площадке, стараясь не касаться страшных статуй. Там мы нашли камень. А под камнем лежала нацарапанная карандашом записка:

«Всем, кого это касается: эти люди вокруг нас — почти все, кто оставался в живых на острове Сан-Лоренцо после страшных вихрей, возникших от замерзания моря. Люди эти поймали лжесвятого по имени Боконон. Они привели его сюда, поставили в середину круга и потребовали, чтобы он им точно объяснил, что затеял Господь Бог и что им теперь делать. Этот шут гороховый сказал им, что Бог явно хочет их убить — вероятно, потому, что они ему надоели, и что им из вежливости надо самим умереть. Что, как вы видите, они и

сделали».

Записка была подписана Бокононом.

121. Я отвечаю не сразу

— Какой циник! — ахнул я. Прочитав записку, я обвел глазами мертвецкую в воронке. — Он где-нибудь тут?

— Я его не вижу, — мягко сказала Мона. Она не огорчилась, не рассердилась. — Он всегда говорил, что своих советов слушаться не будет, потому что знает им цену.

— Пусть только покажется тут! — сказал я с горечью. — Только представить себе эту наглость — посоветовать всем этим людям покончить жизнь самоубийством.

И тут Мона рассмеялась. Я еще ни разу не слышал ее смеха. Страшный это был смех, неожиданно низкий и резкий.

— По-твоему, это *смешно!*

Она лениво развела руками:

— Это очень просто, вот и все. Для многих это выход, и такой простой.

И она прошла по склону между окаменевшими телами. Посреди склона она остановилась и обернулась ко мне. И крикнула мне оттуда, сверху:

— А ты бы захотел воскресить хоть кого-нибудь

из них, если бы мог? Отвечай сразу!

— Вот ты сразу и не ответил! — весело крикнула она через полминуты. И, все еще посмеиваясь, она прикоснулась пальцем к земле, выпрямилась, поднесла палец к губам — и умерла.

Плакал ли я? Говорят, плакал. Таким меня встретили на дороге Лоу Кросби с супругой и малютка Ньют. Они ехали в единственном боливарском такси, его пощадил ураган. Они-то и сказали, что я плакал. И Хэзел расплакалась от радости.

Они силком посадили меня в такси.

Хэзел обняла меня за плечи:

— Ничего, теперь ты возле своей мамули. Не надо так расстраиваться.

Я постарался забыться. Я закрыл глаза. И с глубочайшим идиотическим облегчением я прислонился к этой рыхлой, толстой, сырой деревенской дуре.

122. Семейство швейцарских робинзонов[11]

Меня отвезли на место у самого водопада, где был дом Фрэнклина Хониккера. Осталась от него только пещера под водопадом, похожая теперь на *иглу* — ледяную хижину под прозрачным сине-белым колпаком *льда-девять.*

Семья состояла из Фрэнка, крошки Ньюта и четы Кросби. Они выжили, попав в темницу при замке, куда более тесную и неприятную, чем наш каменный мешок. Как только улеглись смерчи, они оттуда вышли, в то время как мы с Моной просидели под землей еще три дня.

И надо же было случиться, что такси каким-то чудом ждало их у въезда в замок.

Они нашли банку белой краски, и Фрэнк нарисовал на кузове машины белые звезды, а на крыше — буквы, обозначающие *гранфаллон:* США.

— И оставили банку краски под аркой? — сказал я.

---

[11] Сноски: 11

«Семья швейцарских робинзонов» — повесть для детей швейцарского писателя Иоганна Рудольфа Висса (1781–1830).

— Откуда вы знаете? — спросил Кросби.

— Потом пришел один человек и написал стишок.

Я не стал спрашивать, как погибли Анджела Хониккер-Коннерс, Филипп и Джулиан Каслы, потому что пришлось бы заговорить о Моне, а на это у меня еще не было сил.

Мне особенно не хотелось говорить о смерти Моны, потому что, пока мы ехали в такси, чета Кросби и крошка Ньют были как-то неестественно веселы.

Хэзел открыла мне секрет их хорошего настроения:

— Вот погоди, увидишь, как мы живем. У нас и еды хорошей много. А понадобится вода — мы просто разводим костер и растапливаем лед. Настоящее семейство швейцарских робинзонов, вот мы кто.

123. О мышах и людях

Прошло полгода — странные полгода, когда я писал эту книгу. Хэзел совершенно точно назвала нашу небольшую компанию семейством швейцарских робинзонов — мы пережили ураган, были отрезаны от всего мира, а потом жизнь для нас стала действительно очень легкой. В ней даже было какое-то очарование диснеевского фильма.

Правда, ни растений, ни животных в живых не осталось. Но благодаря *льду-девять* отлично сохранились туши свиней и коров и мелкая лесная дичь, сохранились выводки птиц и ягоды, ожидая, когда мы дадим им оттаять и сварим их. Кроме того, в развалинах Боливара можно было откопать целые тонны консервов. И мы были единственными людьми на всем Сан-Лоренцо. Ни о еде, ни о жилье и одежде заботиться не приходилось, потому что погода все время стояла сухая, мертвая и жаркая. И здоровье наше было до однообразия ровным. Наверно, все вирусы вымерли или же дремали.

Мы так ко всему приспособились, так прилади-

лись, что никто не удавился и не возразил, когда Хэзел сказала:

— Хорошо хоть комаров нету.

Она сидела на трехногой табуретке на той лужайке, где раньше стоял дом Фрэнка. Она сшивала полосы красной, белой и синей материи. Как Бетси Росс, она шила американский флаг. И ни у кого не хватило духу сказать ей, что красная материя больше отдает оранжевым, синяя — цветом морской волны и что вместо пятидесяти пятиконечных американских звезд она вырезала пятьдесят шестиконечных звезд Давида.[12]

Ее муж, всегда хорошо стряпавший, теперь тушил рагу в чугунном котелке над костром. Он нам все готовил, он очень любил это занятие.

— Вид приятный, и пахнет славно, — заметил я.

Он подмигнул мне:

— В повара не стрелять! Старается как может!

Нашему уютному разговору аккомпанировало издали тиканье автоматического передатчика, сконструированного Фрэнком и беспрерывно выстукивающего «SOS». День и ночь передатчик взывал о помощи.

---

[12] Сноски: 12

Бетси Росс (1752–1836) — легендарная создательница американского флага.

— Спаси-ии-те наши ду-ууу-ши! — замурлыкала Хэзел в такт передатчику: — Спа-аси-те наши дуу-ши! — Ну, как писанье? — спросила она меня.

— Славно, мамуля, славно.

— Когда вы нам почитаете?

— Когда будет готово, мамуля, когда будет готово.

— Много знаменитых писателей вышло из хужеров.

— Знаю.

— И вы будете одним из многих и многих. — Она улыбнулась с надеждой. — А книжка смешная?

— Надеюсь, что да, мамуля.

— Люблю посмеяться.

— Знаю, что любите.

— Тут у каждого своя специальность, каждый что-то дает остальным. Вы пишете для нас смешные книжки, Фрэнк делает свои научные штуки, крошка Ньют — тот картинки рисует, я шью, а Лоу стряпает.

— Чем больше рук, тем работа легче. Старая китайская пословица.

— А они были умные, эти китайцы.

— Да, царство им небесное.

— Жаль, что я их так мало изучала.

— Это было трудно, даже в самых идеальных

условиях.

— Вообще мне жалко, что я так мало училась.

— Всем нам чего-то жаль, мамуля.

— Да, что теперь горевать над пролитым молоком!

— Да, как сказал поэт:

Мышонок, ты не одинок! И нас обманывает рок, И рушится сквозь потолок На нас беда…

— Как это красиво сказано — и как верно!

124. Муравьиный питомник Фрэнка

Я с ужасом ждал, когда Хэзел закончит шитье флага, потому что она меня безнадежно впутала в свои планы. Она решила, что я согласился воздвигнуть эту идиотскую штуку на вершине горы Маккэйб.

— Будь мы с Лоу помоложе, мы бы сами туда полезли. А теперь можем только отдать вам флаг и пожелать успеха.

— Не знаю, мамуля, подходящее ли это место для флага.

— А куда же его еще?

— Придется пораскинуть мозгами, — сказал я. Попросив разрешения уйти, я спустился в пещеру посмотреть, что там затеял Фрэнк.

Ничего нового он не затевал. Он наблюдал за муравьиным питомником, который сделал сам. Он откопал несколько выживших муравьев в трехмерных развалинах Боливара и создал свой двухмерный мир, зажав сандвич из муравьев и земли между двумя стеклами. Муравьи не могли ничего сделать без ведома Фрэнка — он все видел

и все комментировал.

Опыт вскоре показал, каким образом муравьи смогли выжить в мире, лишенном воды. Насколько я знаю, это были единственные насекомые, оставшиеся в живых, и выжили они потому, что скоплялись в виде плотных шариков вокруг зернышек *льда-девятъ.* В центре шарика их тела выделяли достаточно тепла, чтобы превратить лед в капельку росы, хотя при этом половина из них погибала. Росу можно было пить. Трупики можно было есть.

— Ешь, пей, веселись, завтра все равно умрешь! — сказал я Фрэнку и его крохотным каннибалам.

Но он повторял одно и то же. Он раздраженно объяснял мне, чему именно люди могут научиться у муравьев.

И я тоже отвечал как положено:

— Природа — великое дело, Фрэнк. Великое дело.

— Знаете, почему муравьям все удается? — спрашивал он меня в сотый раз. — Потому что они со-труд-ни-чают.

— Отличное слово, черт побери, «со-труд-ниче-ство».

— Кто научил их делать воду?

— А меня кто научил делать лужи?

— Дурацкий ответ, и вы это знаете.

— Виноват.

— Было время, когда я все дурацкие ответы принимал всерьез. Прошло это время.

— Это шаг вперед.

— Я стал куда взрослее.

— За счет некоторых потерь в мировом масштабе. — Я мог говорить что угодно, в полной уверенности, что он все равно не слушает.

— Было время, когда каждый мог меня обставить, оттого что я не очень-то был в себе уверен.

— Ваши сложные отношения с обществом чрезвычайно упростились хотя бы потому, что число людей на земле значительно сократилось, — подсказал я ему. И снова он пропустил мои слова мимо ушей, как глухой.

— Нет, вы мне скажите, вы мне объясните: кто научил муравьев делать воду? — настаивал он без конца.

Несколько раз я предлагал обычное решение — все от Бога, он их и научил. Но, к сожалению, из разговора стало ясно, что эту теорию он и не принимает, и не отвергает. Просто он злился все больше и больше и упрямо повторял свой вопрос.

И я отошел от Фрэнка, как учили меня *Книги Боконона.* «Берегись человека, который упорно трудится, чтобы получить знания, а получив их, обнаруживает, что не стал ничуть умнее, — пишет Боконон. — И он начинает смертельно ненавидеть тех людей, которые так же невежественны, как он, но никакого труда к этому не приложили».

И я пошел искать нашего художника, нашего маленького Ньюта.

125. Тасманийцы

Крошка Ньют писал развороченный пейзаж неподалеку от нашей пещеры, и, когда я к нему подошел, он меня попросил подъехать с ним в Боливар, поискать там краски. Сам он вести машину не мог. Ноги не доставали до педалей.

И мы поехали, а по дороге я его спросил, осталось ли у него хоть какое-нибудь сексуальное влечение. С грустью я ему поведал, что у меня ничего такого не осталось — ни снов на эту тему, ничего.

— Мне раньше снились великанши двадцати, тридцати, сорока футов ростом, — сказал мне Ньют. — А теперь? Господи, да я даже не могу вспомнить, как выглядела моя украиночка.

Я вспомнил, что когда-то читал про туземцев Тасмании, ходивших всегда голышом. В семнадцатом веке, когда их открыли белые люди, они не знали ни земледелия, ни скотоводства, ни строительства, даже огня как будто не знали. И в глазах белых людей они были такими ничтожествами, что первые колонисты, бывшие английские каторжники, охотились на них для

забавы. И туземцам жизнь показалась такой непривлекательной, что они совсем перестали размножаться.

Я сказал Ньюту, что именно от безнадежности нашего положения мы стали бессильными.

Ньют высказал неглупое предположение:

— Мне кажется, что все любовные радости гораздо больше, чем полагают, связаны с радостной мыслью, что продолжаешь род человеческий.

— Конечно, будь с нами женщина, способная рожать, положение изменилось бы самым коренным образом. Но наша старушка Хэзел уже давным-давно не способна родить даже идиота-дауна.

Оказалось, что Ньют очень хорошо знает, что такое идиоты-дауны. Когда-то он учился в специальной школе для неполноценных детей, и среди его одноклассников было несколько даунов.

— Одна девочка-даун, звали ее Мирна, писала лучше всех — я хочу сказать, почерк у нее был самый лучший, а вовсе не то, что она писала. Господи, сколько лет я о ней и не вспоминал!

— А школа была хорошая?

— Я только помню слова нашего директора — он их повторял постоянно. Вечно он на нас кричал по громкоговорителю за какие-нибудь

провинности и всегда начинал одинаково: «Мне до смерти надоело…»

— Довольно точно соответствует моему теперешнему настроению.

— А может, так и надо?

— Вы рассуждаете как боконист, Ньют.

— А почему бы и нет? Насколько мне известно, боконизм — единственная религия, уделившая внимание лилипутам.

Когда я не писал свою книгу, я изучал *Книги Боконона,* но как-то пропустил упоминание о лилипутах. Я был очень благодарен Ньюту за то, что он обратил внимание на это место, потому что тут, в короткое четверостишие, Боконон вложил парадоксальную мысль, что существует печальная необходимость лгать о реальной жизни и еще более печальная невозможность солгать о ней.

Важничает карлик:
Он выше всех людей;
Не мешает малый рост
Величию идей.

126. Играйте, тихие флейты!

— Все-таки удивительно *мрачная* религия! — воскликнул я.

И я перевел разговор в область утопии и стал рассуждать о том, что могло бы быть и что еще может быть, если мир вдруг оттает.

Но Боконон и об этом подумал, он даже целый том посвятил утопиям.

Седьмой том своих сочинений он назвал: «Республика Боконона».

В этой книге много жутких афоризмов:

«Рука, снабжающая товарами кафе и лавки, правит миром». «Сначала организуем в нашей республике кафе, продуктовые лавки, газовые камеры и национальный вид спорта. После этого можно написать нашу Конституцию».

Я обругал Боконона черномазым жуликом и снова переменил тему. Я заговорил о выдающихся, героических поступках отдельных людей. Особенно я хвалил Джулиана Касла и его сына за то, как они пошли навстречу смерти. Еще бушевали смерчи, а они уже ушли пешком в джунгли, в Обитель Милосердия и Надежды, чтобы про-

явить милосердие и подать надежду, насколько это было возможно. И я видел не меньше величия в смерти бедной Анджелы. Она нашла свой кларнет среди развалин Боливара и тут же стала на нем играть, пренебрегая тем, что на мундштук могли попасть крупинки *льда-девять*.

— Играйте, тихие флейты! — глухо пробормотал я.

— Ну что ж, может быть, вы тоже найдете хороший способ умереть, — сказал Ньют.

Так мог говорить только боконист.

Я выболтал ему свою мечту — взобраться на вершину горы Маккэйб с каким-нибудь великолепным символом в руках и водрузить его там.

На миг я даже бросил руль и развел руками — никакого символа у меня не было.

— А какой, к черту, символ можно найти, Ньют? Какой, к черту, символ? — Я снова взялся за руль: — Вот он, конец света, и вот он я, один из последних людей на свете, а вот она, самая высокая гора в этом краю. И я понял, к чему вел меня мой *карасс*, Ньют. Он день и ночь — может, полмиллиона лет подряд — работал на то, чтобы загнать меня на эту гору. — Я покрутил головой, чуть не плача: — Но что, скажите, бога ради, что я должен там водрузить?

Я поглядел вокруг невидящими глазами, настолько невидящими, что, лишь проехав больше мили, я понял, что взглянул прямо в глаза старому негру, живому старику, сидевшему на обочине.

И тут я затормозил. И остановился. И закрыл глаза рукой.

— Что с вами? — спросил Ньют.

— Я видел Боконона.

127. Конец

Он сидел на камне. Он был бос. Ноги его были покрыты изморозью *льда-девять.* Единственной его одеждой было белое покрывало с синим узором. На покрывале было вытканo: «Каса-Мона». Он не обратил на нас внимания. В одной руке он держал карандаш, в другой — лист бумаги.

— Боконон?

— Да.

— Можно спросить, о чем вы думаете?

— Я думал, молодой человек, о заключительной фразе *Книг Боконона.* Пришло время дописать последнюю фразу.

— Ну и как, удалось?

Он пожал плечами и подал мне листок бумаги. Вот что я прочитал:

Будь я помоложе, я написал бы историю человеческой глупости, взобрался бы на гору Маккэйб и лег на спину, подложив под голову эту рукопись. И я взял бы с земли сине-белую отраву, превращающую людей в статуи. И я стал бы статуей, и лежал бы на спине, жутко ухмыляясь и показывая длинный нос — Сами знаете Кому!